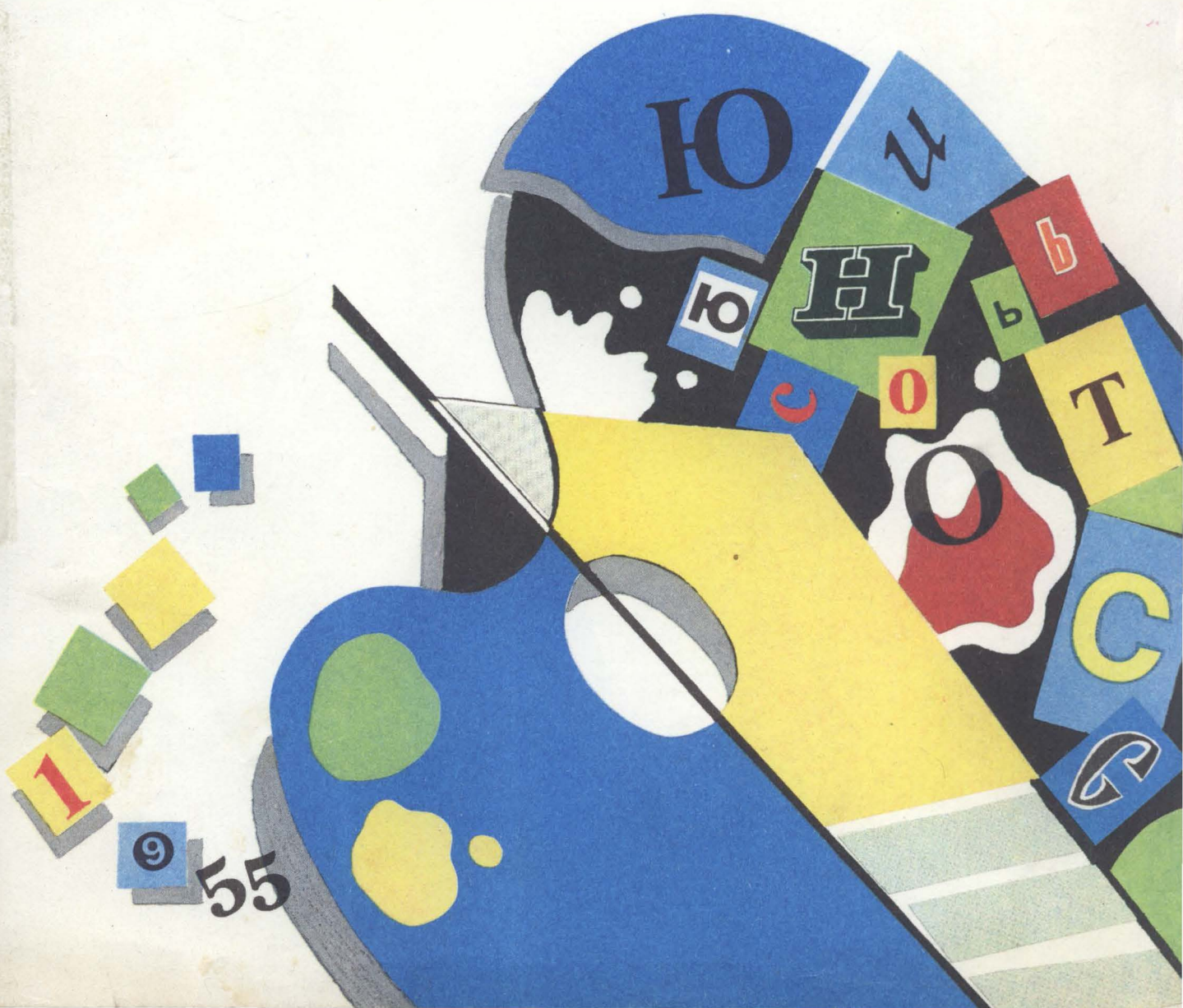


ISSN 0132-2036

# ЮНОСТЬ

6 '90









Владимир  
ВОЙНОВИЧ

# ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Книга вторая  
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ

Рисунки  
Геннадия Новожилова

Людей, которые возьмутся сопоставлять приводимые ниже факты с общеизвестными или описанными в специальных трудах, автор просит иметь в виду, что книга сия не является строго научной и пользоваться ею как историческим источником следует с некоторой осторожностью. Может быть, на самом деле что-то было не совсем так или даже совсем не так. Времени после изображенных здесь событий прошло много, и кое-что автор, признаться, порядочно подзабыл.

Автор находит нужным предупредить, что Иван Чонкин, хотя и стоит по-прежнему в центре описываемых событий, на следующем отрезке данного повествования появляется крайне редко. Временно он уступает место ряду должностных лиц районного, областного и всесоюзного масштаба, очень занятых расследованием деяний нашего героя.

## Часть первая

Подследственный Иван Чонкин сидел на табуретке у стены по правую руку от лейтенанта Филиппова, но на большом расстоянии от него, ближе к двери. Расстояние определялось инструкцией, предусматривавшей возможность нападения на следователя. Над белобрысой головой лейтенанта висел портрет Сталина с девочкой на руках. Девочка всем своим видом выражала Сталину глубокую признательность за свое счастливое детство. На стене напротив висела цитата из речи Сталина, оформленная в виде красочного плаката:

«Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми...» — прочел Чонкин и, устав от чтения, перевел взгляд на окно, которое было прямо перед ним. Нижняя половина была закрашена белой масляной краской с подтеками, в левом углу было процарапано одно недлинное слово, которое Чонкину приходилось читать и раньше.

Если бы была закрашена не нижняя половина окна, а верхняя или вообще никакая, то Чонкин мог бы увидеть неширокую пыльную площадь и Ньюру, стоящую посредине, раскручивая сумку в руке.

В камере стены толстые, может быть, даже с избытком. Но какими бы они ни были, толстыми или тонкими, человеку кажется абсурдом этот уплотненный слой вещества, отделяющий его от свободы. Не умея с этим смириться, человек бьется об стенку лбом, как муха о стекло, а что толку?

Есть и другая преграда, которая кажется тоньше и прозрачнее стекла. Лейтенанту Филиппову стоит разжать губы, стоит шевельнуть языком, стоит произнести одно только слово: «Освободить!», и тут же моментально стены раздвинутся и Чонкин, пройдя несколько шагов, попадет в раскрытые объятия Ньюры. Однако лейтенант Филиппов никогда такого слова не скажет, Чонкин не попадет в раскрытые объятия Ньюры, хотя это, казалось бы, так легко и доступно. Чувство долга повелевает лейтенанту быть безжалостным. Чувство долга не позволяет лейтенанту сказать одно слово, которое двух людей может сделать счастливыми. Пройдет время, и другие люди из чувства долга, может быть, будут безжалостны к лейтенанту Филиппову, будут задавать ему те же вопросы, которые он готовится задать сейчас Чонкину.

Журнальный вариант.

А пока Чонкин сидит и смотрит в окно, нижняя половина которого закрашена белой краской. Чонкин не может видеть Нюру, стоящую на площади, и Нюра не может видеть его. Его видит ворона, взлетевшая на верхушку полувисохшего тополя.

— Фамилия?

Чонкин вздрогнул, и, оторвав взгляд от вороны, перевел его на лейтенанта, который, занеся над бумагой ручку, смотрел на Чонкина выжидательно.

— Чья? — спросил удивленно Чонкин.

— Ваша, — терпеливо объяснил лейтенант и обмакнул ручку в чернила.

— Наша? — еще больше удивился Чонкин. Он думал, может быть, самонадеянно, что его фамилия лейтенанту известна.

— Ваша, — повторил лейтенант.

— Чонкины мы, — скромно сказал Иван и посмотрел на лейтенанта с опаской — может, чего не так.

— Через «о» или через «е»?

— Через «чи», — сказал Чонкин.

В кабинете лейтенанта была совсем веселая (не сравнить с камерной) обстановка. С треском топилась высокая круглая железная печь дореволюционного образца, с надписью в виде эллипса: «Железодобывательный завод Кайзерлаутерна». Волны тепла набегали на Чонкина, располагая ко сну, и вопросы лейтенанта казались лишними и неуместными.

Год рождения, образование, национальность, социальное происхождение...

— Чего? — переспросил Чонкин.

— Родители ваши кто?

— Так ведь люди, — ответил он, не понимая сути вопроса.

— Я понимаю, что не коровы. Чем занимаются?

— В гробе лежат.

— То есть умерли?

Чонкин посмотрел на лейтенанта удивленно: что он, лук ел или так одурел?

— Неужто живые? — сказал он и сделал гримасу, выражающую крайнюю степень недоумения.

— Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Перестаньте валять дурака и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Если родители мертвые, значит, так и надо сказать — мертвые.

— Вот тоже... — как бы ища поддержки, Чонкин оглянулся на печку, потом на портрет Сталина. — Кабы ты спросил, какие они, я бы тебе сказал — мертвые. А ты спрашиваешь, чем занимаются...

— Не ты, а вы, — поправил лейтенант.

— Мы-ы? — переспросил Чонкин, вконец запутавшись. — Ты про кого спрашиваешь?

— Я говорю, Чонкин, что к следователю, тем более к старшему по званию, нужно обращаться на «вы». Ты меня понял?

— Понял, — сказал Чонкин, впрочем, не очень уверенно.

— Ну ладно, — сказал лейтенант. — Это оставим. Перейдем к другому. Скажи мне, как ты очутился в деревне Красное?

— Как очутился?

— Ну да.

— В деревне Красное?

— Ну да, да, — повторил лейтенант несколько раздвоенно. — Как ты очутился в деревне Красное?

— А то ты не знаешь.

— Чонкин! — лейтенант стукнул по столу кулаком.

— А чо Чонкин, чо Чонкин, — стал сердиться подследственный. — Будто ты сам не знаешь, как солдат очучивается где-либо. Старшина послал.

— Какой старшина?

— Ха, какой. — Чонкин развел руками и опять посмотрел на печку, на Сталина, на девочку, как бы

призывая их в свидетели непроходимой тупости лейтенанта. Не знает, какой еще может быть старшина.

— Ну этот же, — сказал он. — Ну как его... Ну Песков же.

— Значит, старшина Песков? — переспросил лейтенант, записывая. — Проверим. А может, не было никакого старшины, а, Чонкин? — Филиппов хитро посмотрел на Чонкина и подмигнул. — Может, ты сам сбежал? Может, ты так решил: пусть мол, Родину защищают всякие дураки, а я умный, я лучше с бабой где-нибудь полежу. Может, так было дело?

— Нет, — хмуро ответил Чонкин. — Не так.

— А с какой же ты тогда целью поселился у Беляшовой?

— У Беляшовой?

— Да-да, у Беляшовой. С какой целью ты у нее поселился?

— Так ведь с целью, чтоб жить с Нюрой, — объяснил Чонкин правдиво.

Лейтенант встал и ногой отодвинул стул к стене. Он не был доволен результатами допроса, который принимал дурацкое направление. Лейтенант нервничал. Он только утром вернулся из области, где подполковник Лужин всю ночь вынимал из него душу, вѣдливо выпрашивая все подробности и детали того случая, когда оперативный отряд под руководством Филиппова в полном составе был захвачен одним плохо вооруженным красноармейцем.

— Чудовищная история, — сказал Лужин. — Нет, я этого понять не могу. Тут что-то не то. Что-то ты от меня скрываешь. Может быть, ты сделал это намеренно, а?

— Зачем? — спросил Филиппов.

— Если бы я знал зачем, — вздохнул Лужин, — я бы тебя расстрелял. Я этого не делаю только потому, что не хочу привлекать к этому делу внимания. Да. Потому что с меня тогда тоже спросят. Так что пока иди, но помни: я могу передумать.

— А как же быть с Чонкиным? — спросил лейтенант.

— С Чонкиным? — переспросил Лужин. — Как быть? Оформить как дезертира и — трибунал. И чтоб я этой фамилии не слышал больше. Никогда. Нет.

Филиппов вернулся в Долгов на рассвете, невыспавшийся и злой. Ему хотелось действительно с этим Чонкиным закончить как можно скорее, а для этого получить от него нужные показания. Но Чонкин явно над ним издевался и валял дурака.

— Ну так что же, — сказал лейтенант, приближаясь к Чонкину, — все более или менее ясно. Не ясно только одно, как вы, советский человек из простой крестьянской семьи, докатились до того, что теперь сидите в тюрьме, как это понимать, а, Чонкин?

Чонкин пожал плечами и хотел сказать, что и сам он не понимает, как же это все действительно получилось, но ничего не сказал, потому что вдруг увидел перед собой ствол направленного на него револьвера.

— Застрелю-у-у! — завопил лейтенант.

Чонкин инстинктивно дернул головой и ударился затылком о стену.

В кабинете сразу стало вроде бы неудобно. От револьвера пахло ружейным маслом и смертью.

— Сейчас, сука, падло, выпущу в тебя всю обойму! — зверел на глазах лейтенант. — Да я тебя... в рот, и в нос, и в печенку... Руки вверх! Лицом к стенке! Ты чувствуешь, падло, сука, чем это пахнет?

Стволом револьвера он почесал Чонкину затылок, а коленом уперся в зад. Чонкин чувствовал, чем это пахнет, ему было ужасно неприятно. Он уткнулся носом в стену. Хотелось влипнуть в стену и просочиться через нее, но он молчал.

Открылась дверь. Чонкин краем глаза увидел — вошла секретарша Капа. Нисколько не удивившись



происходящему, Капа отозвала лейтенанта в уголок и стала шептать что-то, но что именно, Чонкин не разобрал. Он разобрал только, как лейтенант спросил: «А что ей нужно?» — но ответа Капы не слышал.

— Ну вот, — громко и недовольно сказал Филиппов. — Не дают работать. Ходят, ходят, ходят тут всякие... — Как любой уважающий себя человек, лейтенант был уверен, что он один занят стоящим делом, а остальные только и думают, как бы самим ничего не делать и других оторвать от работы.

— Опустите руки! — приказал он Чонкину. — И не поворачивайся. Так и стой лицом к стене, пока я не вернусь. С этими словами он вышел.

Через промежуток времени, который можно считать ничтожным, лейтенант Филиппов появился на крыльце Учреждения и увидел Нюру, стоящую под деревом, на котором сидела ворона. Здесь между Нюрой и лейтенантом состоялся разговор, который длился недолго. Вернувшись в свой кабинет, Филиппов застал Чонкина, как и оставил, стоящим лицом к стене. Но даже и по стриженному затылку подследственного было видно, что за время отсутствия лейтенанта он о многом успел передумать.

— Повернись! — беззлобно приказал лейтенант, проходя к своему столу. — Сядь! — кивнул он на табуретку.

Чонкин сел, шморгнув носом, а рукавом утерся.

— Ну так что же, Чонкин, будем признаваться в совершенных преступлениях прямо и чистосердечно или будем записывать, юлить, лгать и пытаться обвести следствие вокруг пальца?

Чонкин сглотнул слюну и промолчал.

— Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Я вас спрашиваю. Признаете ли вы себя виновным в совершенных вами преступлениях? — Он снова вынул наган и слегка постучал по столу рукояткой.

— Признаю, — еле слышно сказал Чонкин и покорно кивнул головой.

— Так! — оживился лейтенант и быстро записал что-то в протоколе. — А в чем именно вы признаете себя виновным?

— А именно виновным себя признаю у во всем.

— Ну что ж, тогда распишись вот здесь.

И Чонкин расписался. Как умел. Долго выводил заглавное «ч», обмакнул ручку в чернила, написал «о», еще раз обмакнул, написал «н» — и так всю фамилию через весь лист. Лейтенант бережно взял лист протокола и долго дул на драгоценный автограф.

— Вот и молодец, — сказал он. — Хочешь яблочка?

— Давай, — сказал Чонкин, махнув рукой.

\*

Чонкина потом спрашивали строгие люди: что ж ты, мол, так тебя и растак, лопух ты этакий, да как же ты сразу слабину показал и под всем подписался?

— Спужался больно, — отвечал наш горе-герой и улыбался стыдливо.

И было чего стыдиться.

Ладно бы применяли к нему какие-нибудь особые меры, загоняли в иголки под ногти, зажимали бы в дверях отдельные члены тела, тут хоть деревянным будь, можешь не выдержать. А с ним-то ведь ничего подобного не вытворяли. Ну, сунули под нос револьвер, ну, кто спорит, неприятно, конечно, но терпеть-то все-таки можно.

А вот не вытерпел и подписал, что во время несения караульной службы неоднократно нарушал устав, пил, ел, курил, отправлял естественные надобности, покинул пост, вступил в сожительство с Анной Беляшовой, передвинул объект охраны, нарушал форму одежды (появился среди местного населения в одном белье), пьянствовал, вел аморальный

и даже разнузданный образ жизни; узнав о начале войны, не принял никаких мер, чтобы явиться к месту службы, уклонившись тем самым от исполнения своего воинского долга, что равносильно дезертирству.

Вот и развеян миф о легендарном герое Чонкине. И разочарованный автор пребывает в сомнении, стоит ли ему продолжать жизнеописание этой личности. А почему разочарованный? Потому что сам автор этого не ожидал. Бывает, скажет осведомленный читатель и припомнит одну вымышленную даму, которая, к удивлению сочинителя, вышла замуж за генерала. Но выйти замуж за генерала или подписать себе приговор — это совсем разные вещи. Автор смущен. Недвижно застыла рука, занесенная над бумагой. Сохнут чернила, перо не пишет. Как же быть и что делать? Как держать ответ перед суровым читателем? Ведь он не только суров, он доверчив. Ну ладно, смирился он. Пусть этот Чонкин кривоног да лопух, и в смысле ума тоже не академик, но ведь не зря же автор именно такого героя подсовывает, должен же он, если уж назван героем, подвиг какой-нибудь большой совершить.

Да, должен. Но боится. Чем больше подвиг, тем его совершать страшнее.

\*

Каждое утро Нюра приходила сюда, на площадь перед Учреждением, и стояла под тем самым деревом, верхушку которого видел Чонкин из кабинета лейтенанта Филиппова. Она приходила, стояла, вертела в руках свою почтальонскую сумку и разглядывала входную дверь, надеясь неизвестно на что. Подняться на крыльцо и войти в эту дверь она не решалась, а просто так стоять — для чего ж?

Однажды ей повезло. Она стояла так же под деревом, когда к ней подошла дамочка в сапогах и с папирсой, спросила у Нюры, кого она ждет и зачем, сказала «сейчас» и скрылась в дверях Учреждения. Нюре пора уже было быть на почте, но не упустить же такой случай. Она подождала, и вскоре в тех же дверях появился лейтенант Филиппов в новой форме и хорошо начищенных сапогах. Он вышел как будто просто так, посмотрел на небо, потянулся, опустил глаза и увидел Нюру.

— Эй, здравствуй! — крикнула ему Нюра и приветливо улыбнулась.

— Вы ко мне? — спросил лейтенант, глядя на Нюру как на незнакомую женщину.

— К тебе, — кивнула Нюра и, осмелев, приблизилась к лейтенанту. — Как он там-то?

— Это кто же? — благодушно спросил лейтенант.

— Да Ванька же, — доверчиво сказала Нюра, не поняв игры.

— Какой Ванька?

— Да Чонкин же.

— Чонкин, Чонкин... — повторил лейтенант, как бы мучительно припоминая. Достал из кармана папирсу, закурил. — Чонкин... — пробормотал он, наморщив лоб... — Что-то вроде слышал. А как звать-то?

— Иваном, — уныло сказала Нюра. До нее дошло, что лейтенант шутит, но ответить ему тем же она не могла.

— Иван Чонкин! — звучно произнес лейтенант, как пробуя это имя на вкус. — Кажись, есть такой. А вы ему, собственно говоря, кем доводитеесь?

— Сам знаешь! — Нюра начала сердиться.

— Я не знаю, — улыбнулся лейтенант доброжелательно. — Может быть, он ваш муж?

— Муж, — мрачно кивнула Нюра.

— И вы с ним расписаны?

— Я с ним жила, — дерзко сказала Нюра.

— Мало ли кто с кем жил,— заметил лейтенант философски.— У нас в деревне один с козой жил. Брачное свидетельство, или какой документ, или чего-нибудь есть?

Нюра не ответила. Раскручивая в руке сумку то в одну сторону, то в другую, она исподлобья смотрела на лейтенанта.

— Значит, нет документа? — допытывался лейтенант.— Ну вот, я так и думал. Лица, не имеющие свидетельства о браке,— забубнил он, словно читал какое-то постановление,— или иных документов, подтверждающих родственные отношения, считаются посторонними, а посторонним справки не выдаются. Ясно? — Он выплюнул погасшую папиросу и посмотрел на Нюру.

— Так ведь я... — сказала Нюра и заплакала.

— И плакать нечего,— сбавил тон Филиппов.— Тебе никто ничего плохого не делает. Мы тебя потому и не берем, что ты к нему никакого отношения не имеешь, потому что посторонняя. И запомни это как следует: по-сто-ронняя.

С этими словами он повернулся, взбежал на крыльцо и скрылся за дверью.

\*

Перед столом председателя Голубева стоял инструктор райкома Чмыхалов, высокий, худой мужчина с красным, вероятно от пьянства, носом на длинном унылом лице. Он стоял в надетом поверх телогрейки длинном брезентовом плаще с откинутым капюшоном, а в руках держал плетку-треххвостку, которой постукивал по голенищу резинового сапога. За окном, привязанная к крыльцу, понуро мокла на осеннем дожде гнедая лошадь Чмыхалова.

В конторе было жарко натоплено. Чмыхалов потел, утирался рукавом, шмыгал носом и в который раз спрашивал председателя, почему в колхозе не производится уборка хлеба.

— Посмотри в окно, увидишь,— отвечал председатель.

— А мне в окно смотреть нечего,— скучно гундосил Чмыхалов.— Я смотрю в партийные указания.

— Во,— сказал председатель и покрутил у виска пальцем.— Указания, указания... Укажи дождю, чтобы он перестал. Вы там, в райкоме, сидите и не знаю, чем думаете. Уперлись в свои указания, как бараны.

— Как кто? — переспросил быстро Чмыхалов.

— Как овечки,— смягчил свое определение Голубев.

— Сразу, значит, пошел на попятную.— Чмыхалов преобразился, и глаза его заблестели.— Выходит, значит, по-твоему, в райкоме сидят бараны?

— Ты мне политику не шей,— сказал председатель, поднимаясь.— Я тебе говорю: дождь идет, а в дождь убирают только дураки и вредители.

— Ну и договорился! — развел руками Чмыхалов.— Значит, в райкоме сидят бараны, дураки и вредители. И, значит, вся наша партия... — Договорить он не успел. Голубев выскочил из-за стола, схватил Чмыхалова одной рукой за шкуру, другой за штаны и, согнув в три погибели, поволок к выходу.

Нюра Беляшова, появившись к тому времени у конторы, видела, как на мокром крыльце, несогласованно болтая ногами и руками, неожиданно возник Чмыхалов. Длинное его лицо было озарено разнообразными переживаниями. Нюра не успела удивиться и понять, в чем дело, когда Чмыхалов, взмахнув руками, как птица, оторвался от крыльца и полетел. Полы плаща раскинулись, а капюшон вздулся, как парашют. Полет был недолгим. Перелетев через все ступени, Чмыхалов коснулся земли, подпрыгнул и побежал, однако нижняя его часть не смогла догнать

верхнюю, и он рухнул в грязь, вытянув вперед руки, словно ловил курицу. Поднимался он медленно. Его руки, живот, колени и даже одна щека были в грязи. Размазав по щеке грязь кулаком с зажатой в нем плеткой, Чмыхалов подошел к покорно ожидавшей его лошади, отвязал ее и прыгающей ногой долго не мог попасть в стремя. Наконец это ему удалось, он взгромоздился в скользкое седло, повернул к Голубеву грязное и жалкое лицо и сказал, чуть не плача:

— Ничего, я тебе еще покажу! — Отъехал на несколько шагов, обернулся и крикнул смелее, хотя и визгливо: — Покажу! Покажу-у! — И угрожающе поднял руку с плеткой. Лошадь с перепугу рванула. Чмыхалов повалился на спину и задрал ноги, но резким движением вернулся в нормальное положение и быстро стал удаляться. Председатель проводил его задумчивым взглядом и перевел глаза на Нюру.

— Ты ко мне?

— С почтой,— сказала Нюра.

— Заходи.

В одной руке она держала сумку, другую с какой-то бумагой протягивала Голубеву.

— Что это? — посмотрел на бумагу Голубев.

— Тимофеич, подпиши, а?

Счетовод Волков сидел в соседней комнате и одной рукой крутил сигарку, помогая себе плечом и подбородком. Из председательского кабинета доносился какой-то шум. Отложив недокрученную сигарку, Волков заглянул к председателю. Он увидел заплаканное лицо Нюры, смущенное лицо Голубева и услышал его голос:

— Ты пойми, Нюра, я бы рад, но как же я могу? Я же председатель, я не могу подписывать такие бумаги.

Нюра всхлипывала, утираясь концом полушалка. Председатель увидел Волкова и поманил пальцем.

— Поди сюда. Ты посмотри, что она дает мне на подпись.

Волков подошел к председателю, взял протянутую ему бумагу и медленно, вдумываясь в содержание, прочел:

#### СПРАВКА

*Дана настоящая Беляшовой А. А. в том, что она действительно жила с военным служащим Чонкиным Иваном.*

— Это ты сама писала?

— Сама.— Нюра с надеждой глядела на Волкова.

— Это тебе в сельсовет надо идти с этой справкой. А мы колхоз, мы таких справок не выдаем.

— И в сельсовете не подпишут,— сказал Голубев.

— Пожалуй, не подпишут,— подтвердил Волков, положив справку на стол.

— Ну как же не подпишут? — сказала Нюра.— Я ж не чего-нибудь... я ж с им по правде жила.

— По правде, по правде, никто ж не спорит,— сказал председатель.— Но ты сама подумай, я, допустим, сегодня выпил три стакана чаю, приду, скажу: «Дайте мне справку, что я три стакана выпил». Ты вот что,— Голубев поднялся и вышел из-за стола,— ты иди прямо в райком, к Ревкину прямо. И как в кабинет войдешь, так сумку на пол кидай и сама на пол кидайся, глаза вытараскивай и кричи... — Голубев в самом деле вытараскивал глаза, побагровел и вдруг, изображая, как должна вести себя Нюра, завизжал: — «Я беременная!»

— Ой, батюшки! — Нюра со страху даже присела.— Спужал-то как!

— Спужал? То-то! — Председатель подмигнул Волкову, который смотрел на все без интереса и без живости в глазах.— Он тоже спужается. На горло его бери. Кричи: «Беременная! Отдай мне моего Ивана!» — кричи.



— Думаешь, поможет? — заинтересовалась Нюра. Голубев подумал, посмотрел на Волкова.  
— Пожалуй, что не поможет, — признался он нехотя.

— Для чего ж кричать?

— Ну так. Душу отведешь.

Нюра взяла бумагу, сказала: «Ну ладно, тогда до свидания». Пошла к выходу, взялась уже за ручку двери, остановилась.

— Тимофеич, — сказала она, смущаясь. — А ведь я и вправду того...

— Чего того? — не понял Иван Тимофеевич.

— Чижолая я, — сказала она, заливаясь краской.

\*

Двое или трое суток с перерывом на ночь просидела Нюра на скамейке перед приемной секретаря райкома Ревкина, который то выезжал по вызову какого-то начальства, то сам вызывал к себе кого-то, то проводил какие-то конференции, то готовился к бюро райкома. И хотя на дверях его была помещена табличка с указанием дней и часов приема, ожидание Ревкина было похоже на езду в поезде, который идет без расписания, неизвестно в каком направлении и неизвестно, дойдет ли когда до конечного пункта.

Райком жил напряженной будничной жизнью, по коридорчику деловито сновали, разнося бумаги на подпись, секретарши в белых блузках, и важно скрипели хромовыми сапогами местные начальники в полувоенных, а то и целиком в военных костюмах. Иногда появлялся и сам Ревкин, и тогда сидящие на скамеечке вскидывали головы и смотрели на него, как на высшее существо, не решаясь приблизиться. А если кто и решался, то тут же из ничего возникала секретарша, пожилая тетя в очках, и, применяя физическую силу, кричала:

— Гражданин! Гражданин! Вы же видите, что товарищ Ревкин очень занят. Как только у него будет свободное время, он всех примет.

Пока она это говорила, пока она отпихивала растерянного гражданина, товарищ Ревкин успевал скрыться за дверью, а уж туда пробиться к нему не было никакой возможности.

На третьи или на четвертые сутки всем ожидавшим под дверью приемной было объявлено, что в течение нескольких дней товарищ Ревкин вести приема не будет, потому что он готовится к предстоящему очень важному заседанию бюро, а вместо него всех примет товарищ Борисов. Некоторые из очереди были этим разочарованы, Нюра же на первых порах начальников не различала, для нее они все были на одно лицо, как китайцы.

Сколько еще она прождала своей очереди, сейчас, за давностью лет, установить уже никак невозможно, но настойчивость ее была вознаграждена, и она попала в конце концов в кабинет, где за столом сидел человек, выражавший своим скучным видом, что все человеческое ему совершенно чуждо.

Он сидел, молча смотрел на Нюру, и она, не дождавшись никакого вопроса, вынуждена была сказать, что пришла хлопотать «за своего мужика».

— За какого? — Борисов в первый раз разомкнул губы, и стало ясно, что он не статую.

— За Ивана, — сказала Нюра и расплакалась.

Он пошевелился, достал карманные часы и стал смотреть на них, то ли давая понять, что он человек занятой, то ли засекая, сколько времени Нюра проплачет. Может быть, Нюра плакала дольше, чем полагалось, он не выдержал и сказал, не повышая голоса:

— Гражданка, здесь слезам не верят.

Слова эти, сказанные так просто, произвели на

Нюру должное впечатление, ей и в самом деле тут же плакать расхотелось.

— Теперь, — сказал Борисов, продолжая смотреть на часы, — излагайте быстро фамилию Ивана, что с ним случилось и чего вы хотите.

Она начала излагать, назвала фамилию, он оживился и быстро переспросил: «Как? Как?». Она повторила: «Чонкин».

— Чонкин, — задумчиво повторил он и записал фамилию на листке настольного календаря. — Значит, вы говорите, что он арестован? Так что же вас беспокоит?

— Да как же? — сказала Нюра.

— А что как же? — спросил Борисов. — Раз он арестован, значит, будет суд. Если этот ваш Чонкин виноват, его накажут, если нет... — Тут Борисов, может быть, хотел сказать «оправдают», но, подумав, сказал: — ...тогда суд примет другое решение.

— Дак а как же я? — сказала Нюра.

— А что вы?

Нюра заплакала и, утираясь концом платка, стала запутанно объяснять, что ее считают посторонней, а на самом деле она не посторонняя, потому что она с ним, то есть с Иваном, хотя и без справки, жила.

Появились признаки того, что Борисов начал терять терпение.

— Гражданка, — сказал он, барабанив пальцами по столу, — что вы мне городите? Какое мне дело до того, с кем вы жили? Неужели вы думаете, что райкому больше нечего делать, как заниматься такими глупостями? Идите отсюда!

— Куда? — сквозь слезы спросила Нюра.

— Не знаю. К прокурору или еще к кому. Идите!

Но Нюра не уходила. Она стояла и плакала. А Борисов сидел и удивлялся, неужели эта глупая женщина не может понять, кто она, где находится и перед кем стоит. Возмущенный этим, он вышел из-за стола и стал теснить Нюру к выходу:

— Ну ладно, нечего здесь плакать. Здесь вам не это самое. Здесь мы никому хулиганичать не позволим. Здесь и не таким рога обламывали.

Отступая под его напором, Нюра пятилась до самой двери и, задом вышибая дверь, выскочила из нее, как ошпаренная.

\*

Прокурор Павел Трофимович Евпраксеин в трезвом виде всегда знал, что он делает и для чего. Он понимал, что многие другие лица не обладают подобным знанием, и поэтому обычно не удивлялся странности их поведения.

Нюра, уйдя от Борисова ни с чем, пришла к выводу, что вела себя неправильно. Теперь она решила действовать так, как советовал ей Иван Тимофеевич Голубев. Но одно дело решить, а другое — сделать. Когда она вошла в кабинет и увидела крупного важного человека за большим столом под большим портретом, она как-то сразу же оробела и, переступая с ноги на ногу, попятилась даже слегка назад, но, вернувшись к порогу, остановилась.

— Вы ко мне? — спросил прокурор приветливо.

— К вам, — сказала Нюра так тихо, что сама слов своих не услышала.

— И по какому же делу?

— Я беременная, — сказала Нюра.

Если бы она последовала совету Голубева в полном объеме, то есть завизжала, кинула на пол сумку и сама кинулась на пол, может быть, это и произвело бы на прокурора должное впечатление. Но она смутилась, покраснела и эту фразу произнесла так тихо, что не была уверена, услышал ли ее прокурор или нет.

— Не понял. Какая? — прокурор приложил к уху ладонь.

— Беременная, — пролепетала Нюра, смутившись еще больше.

— Громче.

Когда она произнесла то же слово в третий раз, прокурор наконец-то ее услышал. Он улыбнулся и вышел из-за стола.

— Беременная? — переспросил он и, мягко взяв Нюру за плечи, подвел к окну. — Если беременная, вам не сюда, а во-он куда надо.

И показал ей стоящее на другой стороне улицы, обшито тесом здание, в котором, как указывали вывески, находились родильный дом и женская консультация.

— Нет, — сказала Нюра, — я не насчет этого, я насчет мужа.

— От фронта никого не освобождаем, — быстро сказал прокурор.

— Да нет, — сказала Нюра.

— А если насчет алиментов, то пока рано. Только после рождения ребенка.

— Да не в том, — улыбнулась Нюра. По сравнению с тем, что предполагал прокурор, истинное ее дело показалось ей гораздо более простым и легко разрешимым. — Мужика-то у меня посадили.

— А-а, — сказал прокурор. — Теперь понял. И за что же его?

— А ни за что, — простодушно сказала Нюра.

— Ни за что? — удивился прокурор. — А вы в какой стране проживаете?

— Как это? — не поняла Нюра.

— Ну, я спрашиваю, где вы живете? В Англии, в Америке или, может, в фашистской Германии, а?

— Да нет же, — объяснила Нюра, — я в Красном живу, в деревне, отсюда семь километров, может быть, слышали?

— Что-то слышал, — кивнул прокурор. — И что же, в этом вашем Красном советской власти нет, что ли, а?

— В Красном нет, — подтвердила Нюра.

— Как, совсем нет?

— Совсем нет, — сказала Нюра. — Сельсовет-то у нас в Ново-Клюквине, за речкой. А у нас только колхоз.

— А, понятно, понятно, — ухватил прокурор. Он взял лист бумаги и стал на нем что-то чертить. — Вот это, значит, речка, здесь за речкой, советская власть, вот мы ее так заштрихуем. А с этой стороны, стало быть, совсем ничего. Да-а, — сказал он, разглядывая с интересом чертеж, — тогда совсем, конечно, другое дело. А то уж я было подумал, как это: советская власть и ни за что. Я лично как прокурор, ну и вообще как советский человек, о таких безобразиях никогда не слыхал. Нет, конечно, бывают у нас отдельные лица, которые по глупости или с умыслом распространяют разные злостные слухи, ну таких-то людей мы, конечно, сажаем. За клевету на наш строй, на наше общество, на наш народ, но это же нельзя сказать — ни за что. Так же?

— Так, — согласилась Нюра.

— Ну и чего же вы от меня хотите?

— Так я ж насчет свого мужа, — напомнила Нюра.

— А я-то тут при чем? — развел руками Павел Трофимович. — Я же советский прокурор. И власть моя распространяется только на советские территории. А там, где советской власти нет, там я бессилён.

Из сказанного прокурором Нюра не поняла ничего и сидела, ожидая продолжения разговора. Но прокурор никакого разговора продолжать, видимо, не собирался. Он достал из пластмассового футляра очки, напялил их на нос и, раскрыв папку с надписью

«Дело №», начал читать лежавшие в ней документы. Нюра терпеливо ждала. Наконец, прокурор поднял глаза и удивился:

— Вы еще здесь?

— Так я насчет...

— Свого мужа?

— Ну да, — кивнула Нюра.

— Разве я непонятно объяснил? Ну что же, попробую иначе. Запомните и зарубите себе на носу, — он повысил голос и стал грозить пальцем, — у нас в Советском Союзе ни за что никого не сажают. И я как прокурор предупреждаю вас самым строгим образом, вы такие разговорчики бросьте. Да, да, и нечего прикрываться своей беременностью. Мы никому — ни беременным, ни всяким прочим не позволим. Ясно?

— Ясно, — оробела Нюра.

— Ну вот и хорошо, — быстро помягчел прокурор. — В главном договорились. А что касается частных, то их можно и обсудить. Если в отношении вашего мужа были допущены отдельные нарушения закона, мы их пресечем, а виновных, если они есть, накажем. Это я вам обещаю как прокурор. Как фамилия вашего мужа?

— Чонкин, — сказала Нюра. — Чонкин Иван.

— Чонкин? — прокурор вспомнил, что когда-то подписывал ордер на арест именно Чонкина и потом слышал, что этот же Чонкин оказался главарем какой-то банды, и что эта банда была разгромлена. — Чонкин, Чонкин, — бормотал прокурор. — Значит, вы говорите, Чонкин. Одну минуточку. — Он вежливо улыбнулся. — Будьте добры, подождите меня в коридоре, я все выясню и тогда вам скажу.

Нюра вышла в коридор и там провела какое-то время. В это самое время прокурор Евпраксеин кому-то звонил по телефону и разговаривал стоя и шепотом, прикрывая трубку ладонью и поглядывая на дверь. Затем он вышел в коридор, пригласил Нюру к себе, сам сел за стол, а она осталась стоять.

— Значит, вы говорите — Чонкин? — спросил прокурор. — А ваша как фамилия?

— Беляшова, — неохотно сказала Нюра, понимая, что этот вопрос задан ей неспроста.

— Правильно, — сказал прокурор. — Беляшова. В браке вы с этим Чонкиным не состоите. Так? Так. То есть, собственно говоря, вы к этому Чонкину, которого, кстати сказать, ждет очень суровое наказание, никакого отношения не имеете.

— Да как же, — сказала Нюра, — я ж беременная.

— Тем более, — убежденно сказал прокурор. — Зачем же вам связывать свою судьбу и судьбу будущего ребенка с этим преступником?

Тут он понес какую-то околесицу и стал говорить от имени какого-то множественного лица, которым или частью которого он как бы являлся.

— Мы, — сказал он, — не сомневаемся, что вы хорошая работница и настоящий советский человек и что ваша связь с этим Чонкиным была совершенно случайной. Именно поэтому мы вас и не привлекаем к ответственности. Но именно поэтому вы должны от этого Чонкина решительно отмежеваться...

Дальше пошла и вовсе какая-то тарабарщина: трудное время... сложная международная обстановка... противоборство двух миров... нельзя сидеть между двух стульев... необходимо определить, по какую сторону баррикад...

— И поэтому, — закончил он свою мысль, — с вашей стороны было бы правильным не защищать вашего Чонкина, а, наоборот, порвать с ним самым решительным образом. Было бы уместно заявить даже письменно, что я, такая-то и такая-то, вступила в интимную связь с Чонкиным случайно и неосмотрительно.



тельно, не зная его звериной сущности, о чем сожалеть. А? Как вы думаете, можно так написать?

Прокурор посмотрел на Нюру и увидел ее глаза, полные слез.

— Дяденька, — сказала Нюра, хлюпая носом, — он ведь, Ванька, хороший.

— Хороший? — прокурор нахмурился и отвел глаза. — Интересно, за что же его арестовали, если он хороший?

— Так ни за что же, — сказала Нюра.

— Ни за что? — сердито переспросил Евпраксеин. — Ну что же, Беляшова, вы, я вижу, не просто заблуждаетесь. Вы упорствуете в своих заблуждениях. Я вижу, для вас время, проведенное с этим Чонкиным, не прошло даром. Я вижу, он-таки успел вас обработать.

Думая, что прокурор имеет в виду ее беременность, Нюра кивнула и согласилась сквозь слезы:

— Успел.

\*

Сейчас, конечно, в Долгове уже мало кто помнит прокурора Павла Трофимовича Евпраксеина, хотя в те времена невообразимо было предположение, что его вообще когда-то можно будет забыть. Тогда слава его была прочной, гремела на весь район и даже выходила иногда за пределы. Все знали и говорили или, вернее, шептали, что прокурор Евпраксеин — это зверь. Что к нему попадешь, живым не выйдешь. Что спуску никому не дает, и ни слезой его не разжалобишь, ни взяткой не размягчишь.

И вид у него был зверский, и вел он себя по-зверски, и никто бы тогда не поверил, что на самом деле был он человек в общем-то добрый, но уж очень запуганный. И оттого, что был запуганный, до смерти он боялся, что доброту его кто-нибудь разгадает, разглядит и раскусит. И чтобы этого не случилось, Павел Трофимович изо дня в день скрывал свою истинную сущность и скрывал так умело, что иные слабые духом люди от одного только прокурорского взгляда чуть не падали в обморок.

Конечно, среди прокуроров встречались разные люди. Распространен среди них был тип и истинно жестокого существа, которому что человек, что муха. Но такой жестокий, зная, что он жестокий, и потому не рискуя разоблачением, мог какую-то жертву и упустить по забывчивости, по пьянке или из корыстного соображения.

А вот Евпраксеин, чувствуя в себе склонность к чему-то хорошему, очень боялся, что пронюхают и узнают, и потому не упускал ничего и никого.

Но у него была одна слабость, распространенная даже среди прокуроров, — он любил выпить. И когда выпивал, раскрывался.

В тот день, после разговора с Нюрой, он зашел в чайную, с кем-то там встретился, с кем-то там выпил и возвращался домой поздно вечером. Пальто на нем было расстегнуто, шарф торчал из рукава, а шапку он забыл в чайной.

Прокурор шел нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, останавливаясь и размахивая руками.

— Дура! — говорил он воображаемой собеседнице. — Подумаешь — я беременная. Я, может, тоже беременный. А если беременная, так что же тебя, на руках носить? Берременная! Тоже невидаль, ха-ха, беременная. Так тебя ж никто не сажает. С тобой по хорошему. К тебе гуманизм проявляют. Отрекись от него, и все, и никто тебя не тронет. Так нет же. Дяденька, он хороший. А чего в нем хорошего? Да мне, если бы разрешили, я, может, еще лучше был бы. Да не могу, потому что я кто? Я прокурор. Да,

прокурор. — Он взмахнул рукой, и перед глазами его мелькнула пестрая лента. — Змея! — догадался Петр Трофимович. — Змея! — закричал он не своим голосом и кинулся со всех ног бежать. Споткнулся, упал, ударился головой о дорогу. К счастью, в те времена улицы города Долгова еще не имели твердого покрытия. Сейчас, правда, многое переменялось. Впрочем, твердого покрытия, кажется, нет и сейчас. Ну а тогда, если бы было покрытие, то одним прокурором могло бы стать меньше. А прокуроров нужно беречь. Вы скажете, а чего их беречь, их много. Это, конечно, так. Но все-таки жалко и прокуроров.

Ударившись головой, прокурор Евпраксеин лежал пластом на дороге и не подавал сколько-нибудь отчетливых признаков жизни.

Потом, придя в себя, он слышал, что кто-то подошел, кто-то склонился над его распростертым телом. Прокурор застонал.

— Вы живы? — участливо спросил незнакомый мужской голос.

— Не знаю. — Евпраксеин стал подбирать под себя руки, чтобы опереться, и опять увидел, что к нему ползет что-то длинное.

— Опять змея! — сказал он удрученно и уронил голову.

— Что вы, гражданин, какая змея? Это ваш шарф.

— Шарф? — прокурор приоткрыл один глаз, подергал рукой, и то длинное тоже подергалось. — Ты смотри, шарф. А я думал — змея. А я змеей не люблю. Я их боюсь. Ты думаешь, я ничего не боюсь? Нет, боюсь. Потому что я живое существо, а все живое боится.

С помощью незнакомца он поднялся на ноги и качался, не решаясь сдвинуться с места.

— Спасибо, друг! — бормотал он. — Спасибо! Не знаю даже, чем тебя отблагодарить. Что для тебя сделать?

— Прикурить не найдется? — спросил незнакомец и вынул из-за уха сигарку.

— Сейчас, — заторопился прокурор. Он был преисполнен благодарности, и ему действительно хотелось сделать что-то хорошее для этого незнакомца, но безусловно доброго человека. — Одну минуточку. — Он полез в левый карман, для этого ему пришлось почему-то обернуться на триста шестьдесят градусов влево. В левом кармане спичек не оказалось. Тогда он полез в правый карман и опять сделал полный оборот вокруг своей оси вправо. Нашел в правом кармане коробок, открыл и стал доставать спички, рассыпая их по земле. Наконец выловил одну спичку и, замахиваясь ею, как саблей, пытался чиркнуть по коробку.

— Дайте, я сам, — сказал незнакомец.

— Нет-нет, — сказал прокурор. — Я хочу проявить ува... ува... уваже...

Руки дрожали, спички ломались. Наконец одна из них зашипела и вспыхнула. Евпраксеин поднял ее на уровень своего лица. Незнакомец с сигаркой потянулся к огню, глянул на Евпраксеина, вздрогнул и отшатнулся.

— Вы прокурор? — спросил он взволнованно.

— Прокурор, — кивнул Евпраксеин.

Легким порывом ветра задуло спичку. Прокурор достал вторую, чиркнул и увидел, что незнакомец быстро удаляется от него.

— Да куда же ты? — растерялся Павел Трофимович. — На, прикури. Слышь, друг! Братишка! Остановись!

Он даже пробежал несколько шагов за незнакомцем, но потом махнул рукой, остановился и, сказав: «Эх ты, дурак!», плюнул.

Затем вытащил из рукава шарф, намотал его по-

верх воротника пальто и пошел дальше, рассуждая с самим собой.

— Тоже мне трус поганый, прокурора испугался. И правильно делаешь, что боишься,— сказал Павел Трофимович, обращаясь к оказавшемуся на пути телеграфному столбу.— Правильно! Ты думаешь человек человеку кто? Друг? Товарищ? Братишка? На-ка выкуси! Человек человеку люпус ест! Человек человеку волчище вот с такими клыками. Да, конечно, я — прокурор. Я прокурор! — повторил он и пошел дальше.— Я коммунист. Я солдат партии. Я не имею права на мягкотелость. Вот побьем немцев... Вот коммунизм построим, и тогда всем по потребности... Тогда будем каждого по головке... гладить. А сейчас не время...— Он остановился, подумал.— И вчера было не время.— Он еще подумал и оглянулся.— И завтра будет не время.— И снова повысил голос.— Но все равно! Я боец! Я солдат!! Я палач!!! Я убийца!!!! Я сволочь!!!! — завизжал он и стукнул себя кулаком в грудь.

Азалия Митрофановна, или просто Аза, жена прокурора, сидела перед зеркалом и растирала на скулах крем. Было поздно. Дети Аленка и Трофимка давно легли спать. Тарелка репродуктора едва дребезжала, передавая легкую музыку. За дверью слышались шаги. Аза насторожилась. Дверь распахнулась, и на пороге в расстегнутом грязном пальто появился Павел Трофимович.

— Господи! Опять? — ужаснулась Аза.

— Опять,— кивнул Павел Трофимович.— А ты все это? — Он потер под глазами, как будто тоже мазался кремом.— Хочешь быть молодой. Не поможет. Нет. Жизнь кого хочешь сморщит, даже жену прокурора.

— Паша! — сказала она с упреком.

— А что Паша? Что Паша? — Он погладил пальцем ее халат.— Халатик-то шелковый.

— Ну, Паша, ты же сам купил мне его к дню рождения.

— Да, конечно.— Расхаживая по комнате, он делал замысловатые движения руками.— Я купил. К дню рождения. А на какие шиши? А за что мне эти шиши платят? А шиши мне эти платят за то, что я людей...— Он приблизил к ней красное лицо и резко выдохнул: — ...убиваю.

— Паша! — закричала она.— Подумай, что ты говоришь!

— Ха-ха,— засмеялся он,— подумай. Давно подумал. А что делать? У меня семья, и вы жрать хотите!

— Паша! — сказала она с упреком.— Ты же детей разбудишь.

— Ах, детей! — Он ворвался в детскую и, отпихивая повисшую на руке жену, заорал: — А ну вставайте, паразиты! Я хочу вам объявить, что ваш отец — палач и убийца!

Они не спали. Семиклассница Аленка и пятиклассник Трофим сидели каждый на своей кровати, подтянув к подбородкам одеяла и прижимаясь к стенке.

— Аленка! Трофимка! — Широко расставив руки, мать загромождала их от отца.— Не слушайте папу. Папа пьяный.

— Да, я пьяный. И потому говорю правду.

Он вышел в переднюю и на листе, вырванном из Аленкиной тетради, держа ручку в кулаке, разбрызгивая чернила, написал: «Я, прокурор Евпраксий П. Т., находясь в здравом уме и трезвой (зачеркнуто), признаю свое соучастие и объявляю о своем выходе из. Я знаю, на что иду, но у меня больше нет сил, и мой поступок продиктован моей гражданской совестью и».

На этом он закончил и, не поставив ни точки, ни многоточия, ни времени, ни числа, расписался. И щедрым жестом протянул бумагу жене:

— На, отнеси!

— Кому?

— Им.

— Хорошо,— сказала она покорно,— я отнесу. Ты разденься и отдохни, а я отнесу.

— Отнесешь? — Он вскочил.— Посадить меня хочешь? — загремел, торжествуя.— Дай сюда! — Он вырвал бумагу и разорвал.— Я знал, что ты такая, что только и ждешь, как бы избавиться. Вот ко мне сегодня приходила... простая русская женщина... даже не расписана, а готова ради него... А ты-ы!.. Под расстрел меня хочешь? Сволочь! Не дожدهшься. Я сам...

И тут повторилось то, что случалось не раз. Он сорвал со стены двустволку и закричал:

— Выходи!

— Паша,— сказала она грустно, заранее зная, что ее довод не подействует.— Ты хоть бы детей постеснялся.

В прежние времена дети кидались к отцу, хватили его за ноги и кричали: «Папочка». Теперь они сидели в своей комнате и с испугом следили за происходящим через открытые двери.

— Выходи! — торопил прокурор.

— Погоди, я хоть сапоги надену.

— Ну да, еще сапоги пачкать. И так хороша будешь.

Босую, покорную, в одном халате, надетом на голое тело, он вывел ее к общественной уборной. Было холодно, но светло, полная луна выплыла из-за туч и равнодушно освещала место грядущей казни.

— Именем Российской Советской Федеративной...— торжественно произнес прокурор, поднимая ружье.

Раньше, когда случалось такое, выбегали соседи. Теперь же не было никого. Только одно окно растрескилось, и женский голос спросил:

— Ну чего там?

А другой, тоже женский, ответил:

— Прокурор обратно Азалию на расстрел вывел.

Окно тут же захлопнулось. Прокурор невольно оглянулся на посторонние звуки, а когда повернулся опять, Азалии возле уборной не было. Тут и луна закатилась, стало совсем темно.

— Аза! — крикнул прокурор в темноту.— Выходи! Не препятствуй исполнению приговора.

Азалия не отзывалась.

Утром он, как обычно, ползал перед женою на коленях, хватал ее за ноги, умолял простить и обещал выбросить ружье на помойку или продать.

После этого, отчасти прощенный, напившись крепкого чаю, пошел на работу и исполнял свои обязанности твердо, как полагалось.

\*

Нюра шла и шла по длинным коридорам учреждений, которые слились для нее в один бесконечный коридор с грязными полами, обшарпанными лавками. На лавках в робких и выжидательных позах сидели просители, то есть люди, которые еще чего-то хотели от этой жизни, искатели правды, борцы за справедливость, кляузники, униженные и оскорбленные, в дражных телогрейках, в лохмотьях, в лаптях, в чунях, в галошах на босу ногу и вовсе босые, старики и старухи, бабы с детишками, молодой парнишка на костылях, пожилой матрос с перевязанной головой, старик в суконном пальто, по которому стадами бродили бледные вши, рахитичный младенец, жевавший хлеб в грязном тряпичном узелке.

Бледный небритый мужчина с лихорадочным блеском в глазах рассказывал Нюре, как следователь отбивал ему почки, объясняя свои действия идеологи-



ческой войной и сложностью мировой обстановки.

— Перед самой войной, — говорил мужчина, — меня освободили, но я теперь ни на что не способен.

Он показал Нюре свое длинное заявление, в котором предлагал ввести статус инвалида идеологической войны, а ему лично дать первую группу с предоставлением бесплатного проезда в городском транспорте.

Была тетка, потерявшая карточки. Она ходила по инстанциям, говорила, что у нее трое детей, что они помрут с голоду. Ей отвечали: «Здесь не богадельня. О детях надо было раньше думать. У нас нет специальных фондов для ротозеев».

Один весьма невзрачного вида гражданин вступил на путь борьбы вовсе из-за ерунды. Как-то ему понадобилось перекрыть крышу, и он обратился к директору совхоза с просьбой о выписке ему нужного количества соломы. Директор отказал на том основании, что проситель недостаточно активно проявлял себя в общественной жизни, то есть не посещал самодеятельность, не выпускал стенгазету, не ходил на собрания, а если и ходил, то не лез на трибуну и пассивно участвовал в общих аплодисментах.

Вместо того чтобы просто украсть эту солому (как делали одни) или дать директору трешку (как делали другие), соломопроситель решил действовать законным путем, писал жалобы всем, включая Калинина. Ответы возвращались к тем, на кого он жаловался, дважды (один раз в дирекции совхоза, один раз в милиции) он был бит, три месяца его лечили в сумасшедшем доме, однако до конца, как видно, не вылечили.

Все люди, которых встретила Нюра в этом бесконечном коридоре перед бесконечным рядом дверей, сидели здесь иногда сутками, как на вокзале. Время от времени выкликалась фамилия кого-нибудь из сидевших, а тот, заранее снявши шапку и кланяясь, входил в долгожданную дверь, чтобы через минуту выскочить оттуда с помутневшим взором, а то и с воплем, словно из кабинета зубного врача.

За теми дверьми сидели важные лица. Все они работали без наркоза. Они каждого посетителя воспринимали, как гидру, желавшую непременно что-нибудь ухватить у нашего рабоче-крестьянского государства. Сами не вырабатывая ничего, кроме ненужных бумаг, они попрекали каждого входящего, будто именно он и живет на шее у государства, будто и так получил слишком много и теперь явился за лишним.

Нюра шла из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет. Чем дальше, тем больше требовали от нее, не предлагая уже ничего взамен.

Но, заливаясь слезами, впадая в отчаяние, Нюра



шла все дальше и дальше и, попав однажды в редакцию газеты «Большевистские темпы», постучалась в дверь, где висела табличка «Ответственный редактор т. Ермолкин Б. Е.».

Борис Евгеньевич Ермолкин был замечательный в своем роде человек. Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью называл. Но не из тех волков, которые, высунув язык, гоняются за свежими новостями. Нет, от новостей он как раз всегда шаркался в панике. И если в городе или районе случалось что-нибудь достойное внимания, то есть действительно какая-нибудь новость, Ермолкин делал все, чтобы именно она никак не попала на страницы его газеты. Бывало, читая где-нибудь, что даже какая-то буржуазная газета не могла скрыть чего-то, Ермолкин только руками разводил. Да что ж это в буржуазной газете редактор такой, если чего-то скрыть не может.

Ничем не примечательный с виду человек, обладал Ермолкин испепеляющей страстью — любую статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы читать ее было совсем невозможно. С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни времени суток, ни смены времен года, не зная радости любви или выпивки, забыв о собственной семье, проводил он время в своем кабинете за чтением верстки. Ему приносили эти сырые серые листы, шершавые от вдавненного в них шрифта с кривыми строками. Эти листы и в руки-то взять было б противно, а он вцеплялся в них, как наркоман, дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось священнодействие.

Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось среди них хоть одно живое. Все обыкновенные слова казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строе-ние», «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских летчиков — сталинскими соколами, а небо — воздушным бассейном или пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть — «черное золото». Хлопок — «белое золото». Газ — «голубое золото». Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота, он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое именно золото имеется в виду. Тот ответил: обыкновенное. Так потом и было написано в газете: добытчики золота обыкновенного.

Глядя на Ермолкина, трудно было поверить, что родила его обыкновенная женщина, и что пела ему на русском языке колыбельные песни, и что слышал он своими ушами уличные голоса, и что читал он хоть когда-нибудь Пушкина, Гоголя или Толстого. Глядя на Ермолкина, казалось, что родила его типографская машина и завертывала вместо пеленок вот в эти самые гранки и верстки и, как в эту серую бумагу, навсегда впечатались в его сознание и в каждую его клетку несъедобные и мертвые слова.

Вот к этому удивительному человеку и попала Нюра однажды. Постучав в дверь и услышав «войдите», застала она в кабинете самого редактора, иссохшего на своей работе, и другого, полного, но подвижного и резкого в движениях. Этот другой был некто Константин Цыпин, называвший себя фенологом. Этот фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки

— Борис Евгеньевич, — взывал он к редактору. — Я вас очень прошу, не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая.

— Ишь чего захотел, — ответил редактор, помеишав ложечкой остывший в стакане чай, — как не править, когда вы пишете: «Наступила пора бабьего лета». У нас женщины — труженицы, они стоят у станков, они водят тракторы и комбайны, они заменили своих мужей, ушедших на фронт, а вы их оскорбительно называете бабами.

— Я не их, я лето называю бабьим, так говорят в народе.

— Если все слова, что в народе говорят, да в газету... — Редактор покачал облысевшей своей головой.

— Но ведь не писать женское лето, — сказал фенолог.

— Именно женское.

— А может быть, дамское?

— Нет, дамское нам не подходит. А женское — в самый раз.

— Борис Евгеньевич, — завопил фенолог, — вы меня убиваете. Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы... Девушка, — обратился он к Нюре, — вы вот, я вижу, из народа. У вас такое время, когда осень и когда тепло, когда солнышко светит, как называется?

— Кто как хочет, так и называет, — сказала Нюра уклончиво. Ей не хотелось идти против редактора.

— Вот видите, — оживился редактор. — А у нас газета. Мы не можем называть кто как хочет. Вы по какому делу? — благосклонно спросил он у Нюры.

— Да я насчет мужика своего, насчет Чонкина.

Услышав эту фамилию, редактор отодвинул в сторону стакан с чаем, выпрямился и одеревеневшими губами сказал:

— Слушаю вас.

Фенолог Цыпин тут же исчез, словно его и не было.

— Слушаю вас, — повторил редактор.

— Так я вот насчет того же, что как же мне быть, — сказала Нюра, приближаясь к столу. — Чонкин-то мой мужик, а прокурор говорит, отказаться надо.

— Ну, раз прокурор говорит, значит, так и надо сделать, — сказал Ермолкин.

— Как же, — сказала Нюра, покачав головой, — я ведь беременная.

— Беременная? — удивился Ермолкин. — Это меняет дело. Подождите, я должен подумать.

Он обхватил голову двумя руками, закрыл глаза, и похоже было, что действительно погрузился в глубокое размышление. Нюра смотрела на него с интересом, к которому примешивались и испуг, и уважение. Так, обхватив голову руками, Ермолкин просидел, может быть, несколько секунд, но Нюре показалось, что счет шел на минуты. Ермолкин вдруг тряхнул головой и, как бы приходя в себя, долго смотрел на Нюру. Достал из ящика чистый лист бумаги, подsunул Нюре и сказал тихо:

— Вот здесь внизу распишитесь.

— Зачем? — поинтересовалась Нюра.

— Мы здесь напишем заметку от вашего имени, нужна ваша подпись.

— Какую еще заметку? — насторожилась Нюра.

— Мы напишем, что вы как будущая мать от себя и от имени вашего ребенка решительно отмежевываетесь от так называемого Чонкина и заверяете, что будущего сына своего или дочь воспитаете истинным патриотом, преданным идеалам партии Ленина — Сталина.

— Вона чего, — сняла Нюра. — Везде одно и то же.

— А что вам не нравится? — искренне спросил Ермолкин. — Это же все делается для вашего блага. Неужели вам хочется, чтобы ваш будущий ребенок



носил фамилию преступника, всю жизнь носил на себе это несмыслаемое пятно?

— Ладно, пойду,— сказала Нюра, поднимаясь.

— Ну, как знаете. Люди для вас стараются, хотя бы сделать, как лучше, а вы... Вы знаете, может быть, вам ваше упрямство кажется правильным, может быть, вы даже хотите выглядеть в глазах людей такой героиней, но я считаю, что поведение ваше продиктовано трусостью, и только ею. Если бы вы действительно были искренни, вы бы сказали: «Да, я ошиблась». Вы бы отреклись от этого Чонкина и заклеили его навсегда позором. Я понимаю, такое решение трудно принять, но, если вы настоящая советская женщина, вы должны выбрать, кто вам дороже — Чонкин или советская власть.

Нюра смотрела на него полными слез глазами. Она не знала, почему обязательно выбирать, почему в крайнем случае нельзя совместить то и другое.

— Да,— промолчав, грустно сказал Ермолкин,— вы, я вижу, и в самом деле упорствуете. Мне это, честно говоря, не очень понятно. Может быть, у меня, с вашей точки зрения, несколько устаревшие взгляды, но я ко всему отношусь иначе.— Он встал из-за стола и — руки в брюки — прошелся по комнате.— Вот у меня есть сын,— продолжал он на более нервной ноте.— Он маленький. Ему всего лишь три с половиной года. Я его очень люблю. Но если партия прикажет мне резать его, я не спрошу, за что. Я... — Он посмотрел на Нюру, и взгляд его как бы остекленел... — Я...

— Мама! — не своим голосом завопила Нюра и кинулась вон из кабинета. Почти до самого Красного она бежала бегом, не оглядываясь. Почти до самого Красного ей казалось, что за ней с ножом в зубах гонится редактор Ермолкин.

✱

Почему-то встреча с Нюрой подействовала на Ермолкина странным образом. Может быть, потому, что вспомнил о сыне. Такой белокурый с большим лбом мальчик, похожий на маленького Володю Ульянова. Вот ведь все люди как-то заботятся о своей семье, чего-то друг о друге хлопочут, а он все о работе, все о работе, сидит здесь день и ночь, пожелтел от табачного дыма, а когда был последний раз дома — напрягся, вспомнить не мог. Нет, хватит, сказал он себе самому, пора подумать и о семье. Сегодня он решил уйти с работы раньше обычного, то есть не просто раньше на час или два, а уйти по окончании рабочего дня, как все простые служащие. В конце концов, сформулировал он свою мысль, я человек и имею право на отдых и на личную жизнь.

Все же перед уходом он еще раз просмотрел отпечаток газеты, который ему принесли для окончательной проверки.

Начал, как обычно, с передовой. В передовой его всегда интересовали не тема, не содержание, не, скажем, изложения, его интересовало только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не меньше двенадцати раз. О чем бы там разговор ни шел, хоть о моральном облике советского человека, хоть о заготовке кормов или о разведении рыбы в искусственных водоемах, но слово это должно было упоминаться двенадцать раз, можно тринадцать, можно четырнадцать, но ни в коем случае не одиннадцать. Почему он взял минимальным именно это число, а не какое другое, просто ли с потолка или чуть подсказывало, сказать трудно, но было именно так. Вот же не существовало на этот счет никаких исходящих сверху инструкций, никаких особых распоряжений<sup>1</sup>, а не только Ермол-

кин, но, пожалуй, каждый редактор, хоть в местной газете, хоть в самой центральной, днем и ночью слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, выискивал остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая.

Нет, конечно, за время работы в печати Ермолкину случалось встречать всяких людей. Попадались и отчаянные сорвиголовы, которые то ли по молодости, то ли по отсутствию журналистского нюха горячились, доходя до кощунства: а почему, мол, именно двенадцать, а не восемь или даже не семь? В таких случаях Ермолкин только покачивал головой и грустно усмехался: эх, мол, молодо-зелено, высоко взлетишь, низко сядешь. Некоторые и садились, и весьма низко и не за то, возможно, что упоминали какое-то слово реже, чем полагалось, а потому, что, усомнившись в одном правиле, человек непременно распространяет свои сомнения дальше, потом трудно бывает остановиться.

Итак, Ермолкин начал с передовой. Сегодняшняя передовая была прислана сверху, править ее Ермолкин не мог, не считая, конечно, грамматических ошибок. Все же, водя по строчкам карандашом, он подсчитал и к его не то чтобы удивлению, а, точнее сказать, удовлетворению, нужное слово повторялось именно двенадцать раз, видно, вышестоящий сочинитель в своей литературной работе придерживался того правила, что и Ермолкин. Статья призывала народ в трудное для него время с особым вниманием и даже с сердечным волнением, и даже еще с какими-то более глубокими переживаниями прислушаться к указаниям вождя и воспринимать их как руководство на все случаи жизни. «Указания товарища Сталина,— говорилось в статье,— для всех советских людей стали мерилом мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». Эта фраза чем-то задержала внимание Ермолкина, он еще раз пробежал по ней рассеянным взглядом, стал читать дальше, но почувствовал, что ничего не соображает.

— Устал,— вслух подумал Ермолкин и провел рукой по лицу.— Да, устал.

Медленными движениями он снял с себя потертые нарукавники, положил их в ящик стола и, прежде чем покинуть редакцию, заглянул к ответственному секретарю Лившицу.

— Вот что... э... Вильгельм Леопольдович,— сказал он, слегка зевая.— Я передовую прочел, а остальное уж, пожалуйста, вы. Только повнимательней, ладно? А я пойду домой.

— Домой? — удивился Лившиц.

— А что, рано? — спросил Борис Евгеньевич.

— Да нет, не рано, а... — Лившиц сначала и сам не понял, чему он удивился, но потом подумал и понял, что никогда не видел Ермолкина уходящим домой.— Хорошо,— сказал он.— Идите, Борис Евгеньевич, и не беспокойтесь, все будет в порядке.

— Ну, смотрите,— предупредил Ермолкин,— я оставляю вас за себя и надеюсь, что все будет как надо. Я думаю, что ваша... э-э... слабость сейчас не...

— Что вы! Что вы! — перебил Лившиц.— Вы же знаете, я бросил окончательно. Уже целый месяц ни капли не принимал.

— Ну, ну, я вам верю.— С этими словами Борис Евгеньевич покинул свой кабинет. Весть о том, что он идет домой, молнией облетела редакцию. Сам Борис Евгеньевич этого не заметил, но, когда он шел по коридору, все двери редакции отворились и сотрудники провожали его долгими изумленными взглядами.

Очутившись на улице, Борис Евгеньевич прошел несколько шагов в неведомом ему направлении и тут же остановился. И стал в растерянности вертеть головой. Он хорошо знал только два адреса: в райком и в типографию, а вот дорогу к собственному дому

<sup>1</sup> А может, и существовали.

забыл. «Где же я живу?» — стал он мучительно думать и даже обхватил руками свою небольшую голову и наморщил лоб, но к видимым результатам эти усилия не привели.

В памяти, до отказа забитой казенными словосочетаниями, смутно маячили деревянный мостик через какую-то канаву, кусок какого-то плетня, голубая скамейка, и это все. «Совсем заработался», — объяснил Ермолкин свое состояние себе самому и решил спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих.

— Гражданочка, — обратился он к первой встречной женщине с двумя кошелками, — вы не скажете, как мне пройти... — Он недоговорил и уставился на женщину отупело.

— Куда? — спросила женщина.

— Одну минуточку, — заторопился Ермолкин. Он достал из кармана свой паспорт и стал искать в нем адрес, по которому был прописан и которого он совершенно не помнил. — Да вот. — Он прочел вслух название улицы, указанной в соответствующей графе, и женщина, как ни была удивлена, словоохотливо и со многими лишними подробностями объяснила, как идти и где куда поворачивать.

Ермолкин пошел, как ему было указано, и вскоре был бы дома, но по пути у перекрестка двух улиц увидел людей, которые, сбившись в кучу, кружились на небольшом пятчке, перемещаясь, меняясь местами и что-то выкрикивая, словно искали друг друга. Это был так называемый хитрый рынок, знакомый ему по временам его юности. Ермолкин удивился. Он думал, что эти хитрые рынки навсегда отошли в прошлое, во всяком случае, в своей газете он давно о них ничего не читал. На страницах его газеты жизнь рисовалась совершенно иной. Это была жизнь общества веселых и краснощеких людей, которые только и думают о том, как собрать небывалые урожаи, сварить побольше стали и чугуна, покорить тайгу, и поют при этом радостные песни о своей баснословно счастливой жизни.

Люди, которых видел Ермолкин сейчас, слишком уж оторвались от изображаемой в газетах прекрасной действительности. Они не были краснощеки и не пели веселых песен. Худые, калеченые, рваные, с голодным и вороватым блеском в глазах, они торговали чем ни попадя: табаком, хлебом, кругами жмыха, собаками, кошками, старыми кальсонами, ржавыми гвоздями, курами, пшенной кашей в деревянных мисках и всяческой ерундой. Что-то похожее на любопытство проснулось в прокишшей душе Ермолкина, он вступил в круг этих людей, обуреваемых жаждой наживы, и его закружило в водовороте.

Однорукий мужик в подпоясанной веревкой телогрейке стоял над раскрытым мешком с махоркой, во всю глотку выкрикивая:

— Табачок — крепачок, покурил и на бочок!

— Самогон — первачок! — повторял за ним другой мужичонка с большим чайником в руке, видимо, сам он ничего нового придумать не мог.

Разбитная баба в ватных штанах торговала двумя кусками мыла, черного, как деготь:

— Навались, подшевели, расхватали, не берут.

Городская старуха с надменным лицом держала на растопыренных руках лису с костяными пуговицами вместо глаз и ничего не кричала. Лиса была потертая, побитая молюю, как и сама старуха.

Молодой человек в темных очках сидел, поджав под себя ноги, в пыли и держал на груди плакат:

ПАДАЙТЕ ОТ РАЖДЕНИЯ СЛЕПОМУ  
И ГЛУХОМУ  
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ

— Трах-бах-тарарах, приехал черт на волах, на зеленом венике из самой Америки...

Инвалид на колесиках в тельняшке и бескозырке раскидывал на грязном вафельном полотенце три карты — два туза пиковых и один бубновый.

— Кручу-верчу, за это гроши плачу. Рупь поставишь, два возьмешь, два поставишь — хрен возьмешь. Заметил — выиграл, не заметил — проиграл. Замечай глазами, получай деньгами. Кто замечает — в лоб получает. Трах-бах-тарарах... Ну что, батя, — он обратился к Ермолкину, — что глаза вылупил? Попытай счастья.

— Нет, нет, — сказал Ермолкин и отошел.

У одной тетki купил он два леденцовых петушка и у другой глиняную свистульку в виде петушка же для ребенка. И стал выбирать.

Он собрался покинуть хитрый рынок, когда внимание его привлек старый еврей в длинном плаще и потертом танкистском шлеме. Старик сидел на деревянной скамеечке рядом с клеткой, в которой помещались две черных морских свинки. Тут же в землю была воткнута палка с прибитой к ней фанеркой, а на фанерке химическим карандашом коряво выведено:

УЧЕННЫЕ МОРСКИЕ КАБАНЧИКИ ЗА 1 РУБЛЬ  
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ СУДЬБУ

— А вы сами, — приблизился Борис Евгеньевич к старику, — верите в эту чушь?

— Я не знаю, — пожал плечами старик. — Я не гадалщик, я сапожник. Когда у меня есть немножко кожи, я шью обувь не хуже, чем мой сын Зиновий вставляет зубы. Когда у меня нет кожи, я зарабатываю на жизнь чем-нибудь другим.

— Как же вы можете гадать, если сами не верите?

— Кто вам сказал, что я не верю? Я сказал, что я не знаю, но моя жена Циля считает, что эти кабанчики очень умные, потому что они-таки приносят нам немножко денег.

Конечно, ни в какие гадания, ни в какие предсказания Ермолкин нисколько не верил, но это стоило так недорого...

Всех трех петушков, и леденцовых, и глиняного, он положил в карман, а из кармана вытащил мятый рубль и, поколебавшись, протянул старику.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, — сказал он, — на что ваши свиньи способны.

Старик, ничего не ответив, взял рубль, снял с колен ящичек с билетами, сложенными в виде пакетиков для порошка и сунул в клетку. Одна из свинок встрепенулась, забегала вокруг ящика, стала что-то вынюхивать, поглядывая на Ермолкина, словно пытаясь определить, что бы ему такое выбрать похуже, затем решительно сунула нос в ящичек и вот уже один билет забелел в ее мелких зубах.

Старик выхватил билет и протянул Ермолкину. Ермолкин, скептически усмехаясь, развернул и прочел:

«Не доверяйте другим того, что вы должны были сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие. Чужая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Остерегайтесь лошадей».

— Я же говорил: чушь, — сказал Ермолкин, протягивая старику записку. — Ну, что это может значить?

Старик сквозь очки глянул на записку, но в руки не взял.

— Я не знаю, — сказал он. — Может быть, это ничего не значит, а может быть, что-нибудь таки значит.

— Абсолютная чепуха, — уверенно сказал Ермолкин. — Ну, я понимаю, первая часть еще может иметь хоть какой-то смысл, потому что применима ко многим случаям. Но при чем же здесь лошадь?

— Я не знаю, — повторил старик смиренно.

— Но вы это сами писали?



— Не сам.

— А кто же?

Старик посмотрел на Ермолкина, потом еще выше — на небо, как бы прикидывая, не приписать ли сочинение билетов высшим силам, но передумал и признался, вздохнув:

— Невестка моя писала, жена Зиновия. Она имеет хороший почерк и немножко лучше меня знает вашего языка.

Такой простой ответ почему-то обескуражил Ермолкина. Может, он все же надеялся, что билеты составлялись в каких-то потусторонних инстанциях. Он не стал больше спорить, только сказал старику, что его следовало бы отвести Куда Надо и проверить документы.

— Я бы вам не советовал этого делать, — печально возразил старик. — Один такой, как вы, симпатичный, проверял мои документы, но уже его таки нет.

Старик вел себя нагло, но Ермолкин решил не связываться, только пробормотал «шарлатанство» и, жалея о потраченном даром рубле, стал выбираться из толпы. Но выбраться оказалось не просто.

Худой небритый дядя в длинной до пят шинели дохнул на Ермолкина перегаром:

— Отец, дуру хочешь?

— Дуру? — удивился Ермолкин. — Какую дуру?

— Да вот же. — Дядя отвернул полу шинели, и Ермолкин увидел противотанковое ружье с укороченным стволом.

— Вы с ума сошли! — сказал Ермолкин и пошел дальше. Но пока он проталкивался, ему еще предложили купить орден Красного Знамени, фальшивый паспорт и справку о тяжелом ранении.

«Что же это происходит? — думал Ермолкин. — И где же я нахожусь?»

— Дяденька, а дяденька. — Борис Евгеньевич оглянулся. Девица с ярко накрашенными губами держала его за рукав: — Дяденька, пойдем в сарайчик.

— В сарайчик? — переспросил Ермолкин, подозревая, что за этим кроется что-то ужасное. — А собственно, зачем?

— А за этим, — улыбнулась девица.

— За этим?

— Ну да, — кивнула она. — Я недорого возьму, всего полсотенки.

— Вы что это такое говорите? — зашипел Ермолкин, оглядываясь и как бы ища поддержки у окружающих.

— А что говорю? — обиделась девица. — Что говорю? Вон за стакан махорки сотню берут.

— Ишь ты, — вмешался в разговор продавец махорки. — Сравнила тоже. Стаканом махорки сто раз накуришься, а ты за один раз звон сколько дерешь.

— Ты его, дяденька, не слушай, — отмахнулась девица. — Он глупой. Он разницы не понимает. Пойдем, дяденька, ты не бойся, я чистая.

— Да как вы смеете? — багровея, возвысил голос Ермолкин. — Как вы смеете предлагать мне такую пакость! Я коммунист! — добавил он и стукнул себя кулаком во впалую грудь.

Трудно сказать со стороны, на что Ермолкин рассчитывал. Может, рассчитывал на то, что, услышав, что он коммунист, весь хитрый рынок сбегится к нему, чтобы пожать ему руку или помазать голову его елеем, может, захотят брать с него пример, делать с него жизнь, подражать ему во всех начинаниях.

— А-а, коммунист, — скривилась девица. — Сказал бы, что не стоит, а то коммунист, коммунист. Давить таких коммунистов надо! — закричала она вдруг визгливо.

— А... — сказал Ермолкин и опять стал оглядываться. — Да как же это?

Он думал, что собравшиеся здесь люди хоть и по-

грязли в частнособственнических инстинктах, но дадут решительный отпор этой враждебной вылазке, но никто не обратил на происходящее решительно никакого внимания, только одиозный посмотрел на Бориса Евгеньевича с сочувствием:

— Иди, иди, а то ведь и вправду удавят, — сказал он почти благожелательно и тут же, забыв про Ермолкина, закричал: — Табачок-крепачок!..

Не находя ни в ком другом никакой поддержки, Ермолкин весь как-то сник, съезжился и стал продираться сквозь толпу, а девица плюнула ему в спину и, совершенно не боясь никакой ответственности, прокричала:

— Коммунист сраный!

Услышав такие слова, Ермолкин даже пригнулся. Ему казалось, что сейчас сверкнет молния, грянет гром или по крайней мере раздастся милицкий свисток... Но не произошло ни того, ни другого, ни третьего.

\*

Выбравшись из толпы, Ермолкин сразу прибавил шагу. Девица отстала. Но в ушах его все еще звучал ее визгливый голос. Коммунист с... Нет, он даже мысленно не мог прибавить к этому по существу священному слову такого неподходящего и кощунственного даже эпитета. Какой ужас, думал Ермолкин. Откуда взялись эти люди? И куда смотрят власти? А этот старик с его дурацким предсказанием? Остерегайтесь лошадей... Какая несусветная чушь!

Размышляя так, он не заметил по дороге ни деревянных мостков, ни плетня, ни голубой скамейки, но все же каким-то образом очутился перед своим домом и сразу узнал его. «Как же я его нашел? — удивился Ермолкин и сам же себе ответил: — Так, вероятно, лошадь находит дорогу домой. Идет, ни о чем не думая, и ноги сами ее приводят к месту. Тьфу! — в сердцах сплюнул Ермолкин. — Дались мне эти лошади».

Войдя в дом, увидел он сидевшую за столом, покрытым цветастой скатертью, немолодую, изможденного вида женщину в темном ситцевом платье. Отставив в сторону чашку с чаем, женщина смотрела на вошедшего удивленно и растерянно. Женщина эта была похожа на жену Ермолкина, но она была значительно старше, чем он предполагал. Он даже подумал, что, может быть, это вовсе и не жена, а теща приехала из Сибири, но женщина кинулась к Ермолкину, вскрикнула: «Бóрис!» (он вспомнил, что именно она, его жена, всегда произносила его имя с ударением на первом слове) — и повисла на шее, как тещи обычно не виснут. Уткнувшись в его грудь лицом, она плакала и бормотала что-то невнятное, из чего он понял, что она упрекает его в слишком долгом отсутствии.

— Ну-ну, — успокаивал он, похлопывая ее по костлявой спине, — ты же знаешь, у меня было в последнее время много работы.

— Последнее время, — всхлипывала она, — последнее время, за это время я могла умереть.

— Ну зачем же уж так. — Мягко отстранив жену, он заглянул в соседнюю комнату, которая была, как ему помнилось, детской. Но ничего детского, то есть ни кроватки, ни игрушки, ни самого ребенка он не увидел. Борис Евгеньевич обернулся к жене.

— А где же наш... — пытаясь вспомнить имя сына, он пожевал губами — ...а где же наш... карапуз?

Жена утерла слезы воротником платья, посмотрела на Бориса Евгеньевича долгим испытующим взглядом и вдруг, догадавшись о чем-то, спросила:

— А как ты думаешь, сколько лет нашему карапузу?

— Три с половиной, — сказал Ермолкин, но тут же засомневался. — Разве нет?

— Нашего карапуза,— медленно проговорила жена,— вчера... — она сделала глотательное движение,— ...взяли на фронт.— И снова заплакала.

— Ерунда какая-то,— пробормотал Ермолкин.— Таких маленьких в армию...

Он хотел сказать, что таких маленьких в армию не берут, но спохватился, стал считать и высчитал, что сын его родился в год смерти Ленина, почему и получил имя Ленж, что означало Ленин Жив (дома его звали ласково Ленжик). Значит, сейчас Ленжику... Ермолкин отнял от сорока одного двадцать четыре... Семнадцать... Да, семнадцать лет...

Да как же это так получилось? Ермолкин машинально сунул руку в карман и нащупал что-то липкое. Он это липкое вынул. Два купленных им на рынке леденцовых петушка слиплись с глиняным петушком. Ермолкин бросил их к печке. Но откуда он взял, что Ленжику три с половиной? Именно столько было ему, когда они приехали в Долгов и когда Борис Евгеньевич занял пост ответственного редактора «Большевистских темпов». Тогда он был и редактором, и корректором, и наборщиком. А потом организация типографии, работа с селькорами, коллективизация и прочие интересные события. И надо было держать ухо востро, чтобы не допустить политической ошибки. Ермолкин все больше и больше времени проводил в редакции, сидел за столом, курил дешевые папиросы, пил чай вприкуску и водил своим бдительным карандашиком по корявым строчкам, превращая верблюдов в корабли пустыни, а леса в лесные массивы или в зеленое золото. Поначалу он иногда приходил домой поздно ночью или даже перед рассветом с блудливым видом, словно от любовницы, и уходил поздно, когда жена была уже на работе, а сын в детском саду. Но приходы его становились все более символическими, все чаще ночевал он прямо в кабинете, скрючившись на неудобном кожаном диване, чтобы утром, наспех промыв глаза, снова засесть за обычное свое занятие, которое постепенно из обязанностей превратилось в неумную страсть. Теперь казалось, оторви его от этой шершавой бумаги, от этих неровно, как кривые зубы, составленных букв, он затосковал бы, как тоскуют по любимой женщине и по Родине или по чему-нибудь еще столь же возвышенному, и умер бы от этой безысходной тоски. Конечно, если б его спросить, он сказал бы, и, наверное, искренне, что служит Отечеству, Сталину или партии, но на самом деле служил он вот этой самой своей мелкой страсти калечить и уродовать слова до неузнаваемости, а также выскидывать и предугадывать возможные политические ошибки.

Сейчас в душе Ермолкина что-то перевернулось, и он, может быть, впервые забеспокоился: на что потрачено четырнадцать лет единственной и неповторимой его жизни на этой земле? Нет, сказал он самому себе, так дальше продолжаться не может, работа работой, служение высоким идеалам тоже дело хорошее, но надо же хоть немножко времени оставить и для себя.

— Вот что, милая... — обратился он к жене.

— Меня зовут Катя,— сказала она.

— Да, конечно, я помню,— слукавил Ермолкин.— Вот что, милая Катя, я полагаю, что нам надо переменить образ жизни. Я слишком заработался. Давай сегодня же что-нибудь предпримем.

— Что предпримем? — спросила Катя.

— Ну как вообще люди проводят свободное время?

— Как? Ну, например, в кино ходят,— сказала она с готовностью.

— В кино? — оживился Ермолкин.— Хорошо. Идем в кино.

В Доме культуры железнодорожников было душно.

Было много военных и эвакуированных. Показывали лучший фильм всех времен и народов «Броненосец «Потемкин». Лента была старая, шипела и рвалась. Показывали одним аппаратом, после каждой части включали свет. После третьей части появились две контролерши и стали проверять билеты. После четвертой части Ермолкин заснул — сказались многолетняя усталость. Время от времени он просыпался и таращил глаза на экран, на котором кого-то бросали за борт. Засыпал и опять просыпался, и опять кого-то бросали за борт.

Потом уже дома в постели он опять засыпал, и просыпался, и слушал бесконечный рассказ жены, как она жила все эти годы, как растила Ленжика, как у него прорезались первые зубки, как он болел корью и скарлатиной, как пошел в первый класс и принес первые отметки, как вступил в пионеры и в комсомол. И, вновь засыпая, Ермолкин думал, как хорошо, что он у себя дома и лежит не один, а с женой и не на голом диване, а на пуховой перине, на хрустящей от крахмала простыне. И он благодарно думал о жене, что она его за эти годы не бросила, и благодарно думал о себе, что он вовремя опомнился и вернулся к ней.

Но долгая привычка спать на казенном диване не прошла даром, и утром Ермолкин, открыв глаза, долго не мог понять, где находится и кто лежит рядом с ним. Потом вспомнил все и улыбнулся.

Позже он встал, надел полосатую пижаму (с вечера приготовленная женой, она висела на спинке стула), шлепанцы, пошел к почтовому ящику и вынул из него все газеты, на которые был подписан, в том числе и свои родные «Большевистские темпы».

Собственно говоря, он начал свой день как обычно, как начинал его все четырнадцать лет своей журналистской деятельности. Но принципиальная разница состояла в том, что сегодня он взял читать свою газету не как редактор, а как обыкновенный благополучный человек, который имеет привычку по утрам, прежде чем приступить к исполнению своих повседневных обязанностей, в спокойной домашней обстановке за чашкой чая поскользится по строчкам рассеянным взглядом и принять к сведению, что в мире происходят такие-то и такие события.

Итак, он начал скользить глазами по строчкам и начал с передовой. Но недолго ему удалось изображать из себя обыкновенного читателя. Постепенно над читателем взял верх редактор. Сказалась многолетняя привычка, и, отвлекшись от чая, он стал ложечкой водить по строчкам, автоматически отмечая, сколько раз попадает слово «Сталин», правильно ли расставлены запятые и точки, тем ли статья набрана шрифтом и вообще все ли в порядке, и вдруг...

Право, не хочется дальше писать, рука не поднимается и перо выпадает из рук.

«Указания товарища Сталина,— прочел Ермолкин,— для всего народа нашего стали мерином мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития». Ермолкин ничего не понял и снова прочел. Опять не понял. Слово «мерином» чем-то ему не понравилось. Он отбросил ложечку, взял карандаш и, поставив на полях газеты специальные значки, означающие вставку, заменил это слово «тягловой единицей конского поголовья». Прочел всю фразу в новой редакции: «Указания товарища Сталина для всех советских людей стали тягловой единицей конского поголовья мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». В новом виде фраза понятней не стала.

Восстановил «мерином», еще раз прочел и...

Катя гладила на кухне мужу белую рубашку, когда услышала нечеловеческий вопль. Вбежав в комнату, она увидела мужа в неестественной позе. Медленно



сползая на пол, он сучил ногами, бился головой о спинку стула и, выпучив глаза, кричал так, как будто два десятка скорпионов впились в него с разных сторон.

— Бóрис! — воскликнула Катя, кидаясь к мужу и тряся его за плечи. — Что с тобой?

Бóрис орал, продолжая сползать. Она ухватила его под мышки и тянула к себе, пытаясь удержать на стуле. При всей своей внешней тщедушности он оказался очень тяжелым. Наконец ей удалось придать его телу состояние неустойчивого равновесия.

— Ты посиди, — сказала она, прижимая его плечи к спинке стула, — я сейчас.

Она принесла кружку воды. Борис Евгеньевич жадно схватил кружку и, ударяясь о ее края зубами, расплескивая воду на грудь, сделал несколько судорожных глотков и отчасти, кажется, успокоился, откинул голову на спинку стула, словно готовился к тому, что его будут брить, открыл рот и закатил глаза.

— Бóрис, — ласково сказала Катя. — Скажи мне, что с тобой?

— Там, — не меняя позы, Ермолкин согнутым пальцем показал на газету, — там... Прочти сама... то, что подчеркнуто.

— «Указания товарища Сталина, — прочла Катя, — для всех советских людей...»

Ермолкин слушал, прикрыв глаза, словно от яркого света. Он с трепетом ждал этого злосчастного слова, надеясь, что Катя прочтет его так, как оно должно звучать на самом деле.

— ...стали мерином мудрости и глубочайшего...

— Хватит! — Ермолкин вскочил и с несвойственной ему энергией забегал по комнате.

Она следила за ним растерянно.

— Ты же сам просил...

— Я ничего не просил! — Продолжая бегать, он заткнул пальцами уши. — Я ничего не хочу даже слушать.

Она снова взяла газету, прочла не только подчеркнутые, но несколько строк до и после. Она читала медленно, шевеля губами. Он подбежал к ней и вырвал газету.

— Бóрис! — закричала она. — Я не понимаю, чем ты так взволнован?

Он остановился как вкопанный.

— Как не понимаешь? — повернулся к печке. — Она не понимает. — Повернулся опять к жене и спросил по складам: — Что-ты-не-по-ни-ма-ешь? Ты видишь, что здесь написано? Это же полная чушь. Указания стали мерином. Мерином, мерином, мерином...

Он бросил на пол газету и схватился за голову.

Катя смотрела на него с сочувствием и растерянностью. Она действительно не понимала. Делая скидку на недостатки своего женского ума, она думала, что фраза, возбуждавшая такую бурю в душе ее мужа, не большая чушь, чем все остальное.

— Но, Бóрис, — сказала она мягко, — мне кажется...

— Тебе кажется! — закричал он. — Ей кажется! Что тебе кажется?

— Мне кажется, — сказала она тихо, стараясь не возбуждать его гнев, — может быть, это не так глупо. Ты помнишь, в физике единица мощности измеряется лошадиной силой. А мудрость товарища Сталина, может быть, измеряется...

— Мерином? — подсказал Ермолкин.

— Ну да, — кивнула она с улыбкой. — Ну, может быть, не одним, а двумя-тремя.

— Ха-ха-ха-ха, — громко рассмеялся Ермолкин. Он смеялся истерически и неуправляемо, так же, как только что плакал.

И вдруг остановился и выпучил глаза.

— Дура! — сказал он тихо.

Она отшатнулась, как от удара.

— Как?

— Дура! Дура набитая. В твоём курином мозгу сто мерингов глупости.

— Бóрис, — сказала она с упреком, — я ждала тебя столько лет.

— И напрасно! — завизжал он. — Все из-за тебя, из-за твоего великовозрастного сыночка.

— Бóрис!

— Что Бóрис? Один раз за все годы позволил себе, и вот... нет, надо что-то предпринимать.

Он скинул с себя пижаму, расшвырвав в разные стороны верхнюю и нижнюю ее половины. Надел свой обычный костюм. И, обозвав еще раз жену душой, проклиная себя за то, что поддался слабости и решил навестить семью, бросился прочь из дому.

В единственном на весь город газетном киоске «Большевистские темпы» были уже распроданы. На всякий случай Ермолкин заглянул на почту и там узнал, что подписчикам разосланы все экземпляры, а один, как обычно, послан в Москву, в Библиотеку имени Ленина.

\*

Что было дальше, разные люди рассказывают по-разному.

Согласно одной версии, Ермолкин предпринял отчаянную и беспримерную в своем роде попытку изъять и уничтожить весь тираж со злополучным «мерином». С этой целью он якобы обошел всех подписчиков, живущих в пределах города Долгова, и объехал всех, живущих за пределами. Он посетил также районную библиотеку, кабинет партийного просвещения, все красные уголки колхозов, совхозов и предприятий местной промышленности. Некоторые экземпляры он скупил (иногда за большие деньги. В одном случае называют даже сумму в сто рублей), некоторые выпросил за так, а некоторые украд. В результате ему удалось собрать весь тираж, кроме одного экземпляра, как раз того, который был отправлен в Библиотеку имени Ленина. После этого Ермолкина, говорят, стали мучить кошмары. Он представлял себе, что там в библиотеке этот номер немедленно прочтут и сразу дадут знать Куде Надо, а Оттуда (в Москве все близко) может дойти и до самого Сталина. И говорят, что Ермолкину будто бы каждую ночь снился один и тот же сон: Сталину приносят газету с «мерином», подчеркнутым красным карандашом. Сталин читает написанное, Сталин курит трубку, Сталин спокойно спрашивает:

— Кто совершил это вредительство, эту идеологическую диверсию?

И кто-нибудь из ближайших сотрудников указывает Сталину на последнюю страницу газеты, где обозначено: «ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Б. ЕРМОЛКИН».

Тогда товарищ Сталин отдает короткое распоряжение, которое быстро спускается по инстанциям, достигает местных органов, ночью из ворот выезжает крытый автомобиль под названием «черный ворон», останавливается перед входом в редакцию, и вот уже кованные сапоги топают по коридору.

— А-а-а! — кричал во сне Ермолкин и просыпался от собственного же крика в холодном поту.

По другой версии, Ермолкин недобрал двух экземпляров: кроме отправленного в Библиотеку имени Ленина, еще и того, который выписывало местное Учреждение, и инициатива посылки «черного ворона»

исходила не от Сталина, а от самого этого Учреждения, то есть не сверху, а снизу.

По версии номер три, Ермолкину не удалось собрать ни одного экземпляра, весь тираж сразу же был пущен в дело — на самокрутки, на растопку, на завертывание селедок (которые как раз тогда выдавали по карточкам вместо мяса) и по своему главному назначению, для чего, собственно говоря, люди их и выписывают. По этой версии, «мерина» читатели просто-напросто не заметили, потому что газету «Большевицкие темпы» в Долгове не читал никто никогда.

Итак, версии различны. Но все они кончаются ночными кошмарами Ермолкина, приездом «черного ворона» и сдавленным криком «А-а-а!».

Доподлинно известно, что со временем Ермолкин успокоился. И может быть, даже решил, что все обойдется. И как раз в это время попала ему присланная в газету заметка анонимного автора

#### «МОЖЕТ ЛИ МЕРИН СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

На заданный им вопрос автор отвечал утвердительно. Он приводил уже известные читателю доводы о беспримерной работоспособности лошади. «А что у нее нет пальцев,— опровергал он возможные возражения,— так это говорит только о том, что она не сможет, конечно, стрелять из винтовки или играть на музыкальных инструментах, но на способностях ее к абстрактному мышлению этот недостаток ее отразиться не должен». На этом автор не остановился. Он шел дальше. Он ставил вопрос острее: в какого человека может превратиться трудолюбивая лошадь — в нашего или не нашего? И утверждал, что если лошадь трудится в условиях нашей системы, то и в человека она превратится, несомненно, в нашего же.

Автор заключал свою заметку опасениями, что его смелые в научном отношении мысли могут быть превратно истолкованы консерваторами и бюрократами, и писал, что именно поэтому он пока не может открыть своего имени широкой читающей публике.

Прочтя эту заметку, Ермолкин пришел в ярость. Он топал ногами и требовал ответа на вопрос, кто посмел подsunуть ему эту дрянь. Выяснилось, что дрянь подsunул все тот же Лившиц, вышедший как раз из запоя. Ермолкин призвал к себе Лившица, накричал на него и пригрозил не только уволить, но и отдать под суд за прогулы и опоздания. Потом, однако, сник, и стал думать, и решил, что эта заметка не просто бред какого-то неизвестного графомана, а намек на то, что ему не надо дожидаться, когда за ним, как за барином, придут на «черном вороне» и возьмут под белые руки, а пойти самому и во всем повиниться.

\*

Ну, а теперь перейдем к лейтенанту Филиппову, который никак не может избавиться от Чонкина. Он все подготовил как нужно, оформил надлежащим образом и отправил в военный трибунал дело Чонкина. И стал ждать, когда же этого проклятого Чонкина заберут. А его не берут. И вот лейтенант звонит в этот самый военный трибунал. Ему повезло.

— Полковник Добренький слушает,— отозвалась трубка.

Лейтенант ужасно рад. Как раз именно полковник Добренький, которого никогда не бывает на месте, ему и нужен. А не бывает полковника на месте, потому что он является председателем выездной тройки трибунала и всегда находится в командировках. Лейтенант сжато излагает суть вопроса. Дело Чонкина производством закончено и передано в распо-

ряжение военного трибунала. Так нельзя ли забрать туда и самого Чонкина? Потому что, находясь в тюрьме, он уклоняется от заслуженного наказания и, более того, разлагающе влияет на местный контингент заключенных.

— Все понял и разъясняю,— дребезжит трубка,— мы этого вашего Чонкина в настоящий момент до себя взять не можем, местов нету. Гарнизонная гауптвахта — под завязку. Кроме того, есть указание: дезертиров, самострельщиков, паникеров и прочую мелочь судить показательно на местах, что будет иметь огромное воспитательное значение для всего местного населения. Понял, лейтенант?

— Понял,— отвечает лейтенант Филиппов.— А ждать вас когда же?

— А ждать нас не нужно. Таких Чонкиных по области вагон и маленькая тележка, а тройка у нас одна. Когда очередь дойдет, тогда и приедем.

Лейтенант кладет трубку и думает: ну ладно, ну пусть. В конце концов, не я буду ждать, а Чонкин. А у меня и без Чонкина дел полно. Вон человек какой-то стоит, ему тоже от меня что-то нужно. А что, собственно, за человек и как он здесь очутился?

Лейтенант очнулся, вздрогнул, посмотрел на человека, стоявшего в позе просителя у дверей.

— Вы по какому вопросу? — спросил лейтенант.

— Вы меня? — спросил человек и ткнул себя пальцем в грудь.

— Ну, а кого же? Здесь, по-моему, кроме нас двоих, никого нету.

— Да, да,— печально согласился человек и приблизился к лейтенанту.— Я понимаю, что вам все известно. Но прошу учесть, что я сам явился с повинной.

— О чем это вы? — спросил лейтенант устало.

— Я относительно мерина...

— Мерина? — Лейтенант придвинул себе настольный календарь и записал слово «Мерин» с большой буквы, думая, что это фамилия.

— Имя-отчество? — спросил он.

— Борис Евгеньевич.

— Так,— кивнул лейтенант, записывая.— И что же он сделал?

— Кто?

— Ну, этот ваш... — Лейтенант сверился с записью... — Мерин Борис Евгеньевич.

— Вы меня не так поняли. Борис Евгеньевич — это я.— И он опять ткнул себя пальцем в грудь, словно объяснял глухонемому.

— Понятно,— сказал лейтенант,— и что же вам нужно, гражданин Мерин?

— Простите,— улыбнулся посетитель,— вы опять меня не так поняли. Мерин — это всего лишь опечатка. Жуткая, нелепая, удивительно глупая опечатка. Должно было быть «мерилом», но наборщик взял из кассы не ту букву. Ужасная ошибка. Трагическое недоразумение. И, вы понимаете, я всегда следил за всем лично, но в этот день как раз пришла жена этого Чонкина... И вот в результате такая ошибка... Ермолкин схватился за голову и заскрежетал зубами.

Лейтенант нахмурился. Из всего сказанного посетителем он услышал только два слова: «Чонкин» и «ошибка».

— Гражданин Мерин,— сказал он сурово.— Что вы мелете? Я вам первый и последний раз советую понять и запомнить, что у нас ошибок вообще не бывает.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь,— живо возразил Борис Евгеньевич,— я не мерин, я...

— Я, я, я,— скорчив рожу, передразнил лейтенант,— я вижу, что вы не мерин, я вижу, что вы осел.

Ермолкин изменился в лице.



— Как? Что? Что вы сказали? Как вы посмели меня, старого партийца... Да если бы был жив Дзержинский... Он даже с идейными врагами не позволял...

— Ага,— поймал его на слове Филиппов,— значит, вы признаете, что вы идейный враг?

— Что? — Ермолкин побледнел от несправедливой обиды.— Я — идейный враг? Да, конечно, я понимаю, что совершил ошибку. Но я коммунист. Я член партии с тысяча девятьсот двадцать... — Он пошевелил губами, но не вспомнил года.— Я понимаю.— Он возбудился и замахал руками, как крыльями.— Вы не хотите принять во внимание, что я явился с повинной. Но вам скрыть этот факт никак не удастся. Я не допущу...

— Не допустишь? — Филиппов, выйдя совершенно из себя, послал Ермолкина к матери и даже указал, к какой именно.

— Сопляк! — закричал Ермолкин, позабыв, где находится.— Сам иди туда, куда ты меня посылаешь.

Он был несносен. Филиппов нажал кнопку, и на сцене появился сержант Клим Свинцов. Свинцов сделал несколько энергичных движений, и Ермолкин с оторванным воротником вновь оказался на свободе.

— Я этого дела так не оставлю,— сказал он, потирая ушибленное колено, и отправился в областной город искать справедливости, то есть требовать, чтобы его посадили, но отметили в деле, что он явился добровольно, а не приведен был под белы руки.

Тут некоторые читатели могут спросить: а что же в это время, когда Ермолкин справедливости добивался, газета «Большевистские темпы» выходила ли? А если выходила, то кто ее подписывал? Признаться, автор этим совершенно не интересовался и ничего определенного по этому поводу сказать не может. О Ермолкине же известно, что в областной город он

попал, ночевал на вокзале, а утром следующего дня был первым посетителем Романа Гавриловича Лукина.

\*

Трудно себе представить, как это в нем сочеталось, но Ермолкин, с одной стороны, верил в то, что органы наши состоят сплошь из кристально чистых людей, немного, может, таинственных, с другой стороны, представлял себе областного начальника чем-то вроде вурдалака с волчьей пастью и огромными волосатыми ручищами. Вместо этого он увидел за широким столом не человека, а голову. Бритая голова с большими ушами лежала подбородком на столе и смотрела на Ермолкина маленькими глазами сквозь розовые очки с толстыми стеклами. Ермолкин растерялся и остановился посреди кабинета. Голова качнулась в сторону, и вдруг маленький человек, чуть ли не карлик, в военной форме появился из-за стола и на коротких ножках, как на колесиках, быстро подкатился к Ермолкину.

— Борис Евгеньевич! — воскликнул человек и вцепился в руку Ермолкина двумя своими.— Чудовищно рад. Видеть. Вас. У себя,— сказал он, как бы ставя после каждого слова точку, и защелкал зубами, которые у него были большие, но нисколько не походили на волчьи.

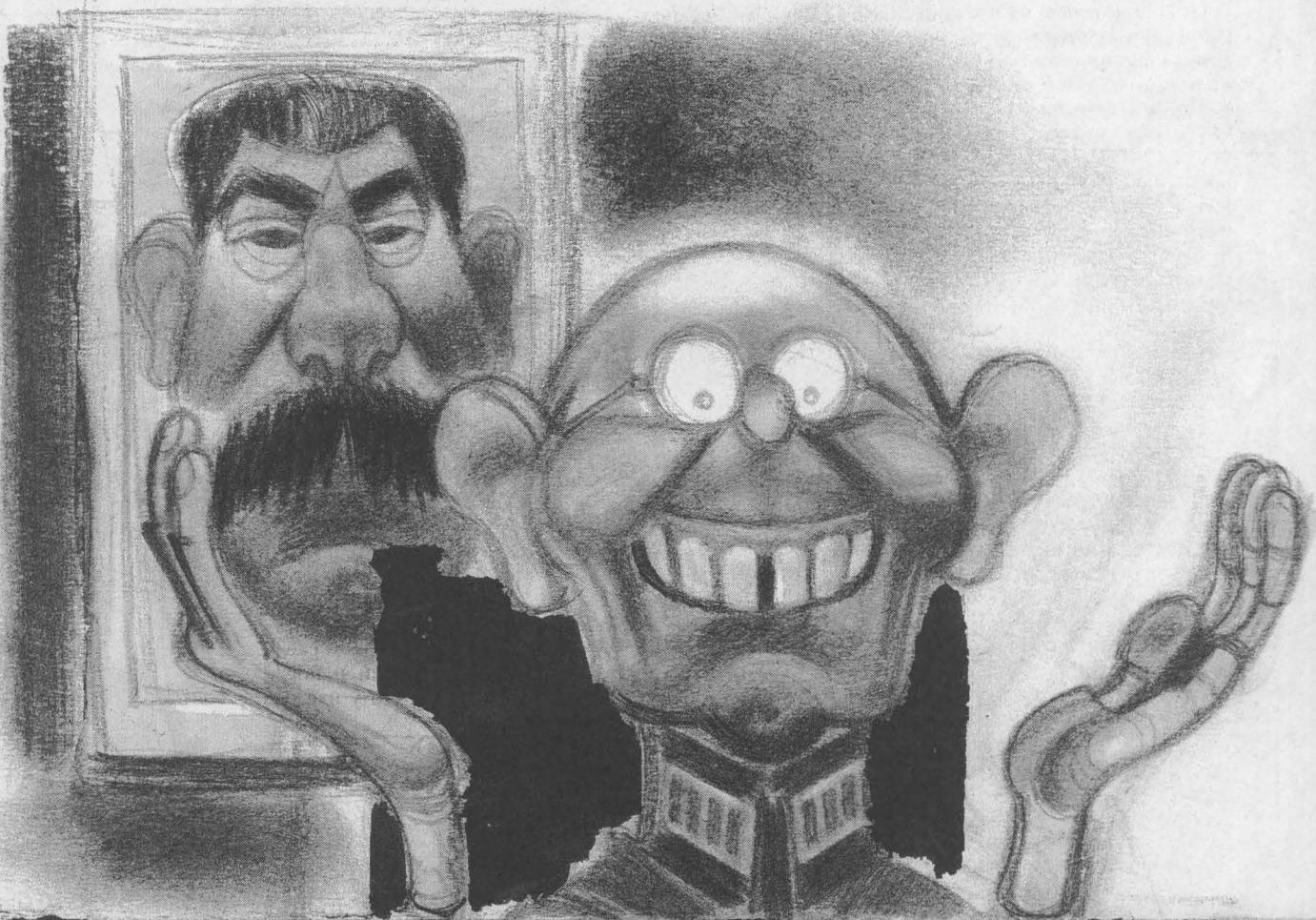
— Вы меня знаете,— не удивился, а отметил Ермолкин.

— Как же, как же,— сказал Лукин.— Было бы странно. Если бы не.— Он во весь рот улыбнулся и опять защелкал зубами.

— Значит, вам все известно?

— Да. Разумеется. Все. Абсолютно.

— Я так и думал,— потряс головою Ермолкин.—



Но прошу вас отметить, что я сам явился с повинной.

— Да,— сказал Лужин.— Конечно. Отметим. Все непременно. Где заявление ваше?

— Заявление? — растерялся Ермолкин. — Я. Собственно. Думал. Что. Устно.— Он не заметил, как тут же заразился лужинской манерой говорить.

— Увы,— сказал Роман Гаврилович.— Мы. Любим. Чтобы все. На бумаге. Поэтому. Я вас прошу.— Он схватил Ермолкина за локоть и повел к выходу.— Там. Девушка. Секретарь. Возьмите. У нее. Лист бумаги и изложите все коротко, но подробно. Как сказал пролетарский великий. Человеческих душ инженер. Чтоб словам было тесно, а мыслям... Как?

— Просторно,— подсказал Ермолкин.

— Вот именно,— засмеялся и защелкал зубами Лужин.— Просторно чтоб было. А потом заходите. А пока. Извините. Дела. Чудовищно заняты.— И, распахнув перед Ермолкиным тяжелую дверь, сделал ручкой.— Прошу.

Ошеломленный Ермолкин вышел в приемную. Тут нос к носу столкнулся он с женщиной деревенского вида и в ней сразу узнал ту самую посетительницу, после визита которой и начались у него все неприятности. «Вот оно что! — поразился Ермолкин.— Значит, все было подстроено. Как тонко! И как хитро!»

— Здравствуйте,— улыбнулся ей Ермолкин.— Вы меня помните?

— Помню,— сказала Нюра, насупившись.

Она поняла, что этот убийца маленьких детей пришел сюда не случайно. Очевидно, он уже предупредил о ее появлении. Она даже попятилась к дверям, но тут из своего кабинета выглянул Лужин и, увидев Нюру, спросил:

— Вы ко мне?

— К вам,— ответила Нюра.

— Войдите.

И Нюра вслед за Лужиным скрылась за дверью. Ермолкин долго смотрел на дверь, затем, опомнившись, подошел к секретарше, грудастой женщине в форме с двумя треугольниками в петлицах и со значком «Ворошиловский стрелок». Ермолкин попросил у нее бумаги, сел к стоявшему в дальнем углу

стола для посетителей, вынул из кармана самописку, потряс ею, пока чернила не брызнули на пол, и так начал свое печальное повествование:

«С большим трудовым подъемом встретили трудящиеся нашего района...» — Тут Ермолкин остановился. «Что я пишу? — подумал он.— С каким трудовым? Какие трудящиеся? Что встретили?»

За долгие годы службы в печати все свои статьи, заметки, передовые и фельетоны начинал он этой фразой и никогда не ошибался. И всегда фраза эта была к месту, от нее легко было переходить к развитию основной мысли, но в данном случае... Старый газетный волк, шевеля толстыми, как лепешки, губами, смотрел он на начальную строку и постепенно сознавал, что он, умеющий писать что угодно на любую заданную тему — о трудовом почине, о соцсоревновании, о стрижке овец и идеологическом единорборстве,— совершенно не находит никаких слов для описания действительного происшествия, свидетелем, или участником, или, точнее, виновником которого ему довелось быть.

Зачеркнув написанное, Ермолкин стал обдумывать новое начало, когда в коридоре послышался приближающийся грохот сапог и в приемную вошли три человека — двое военных и между ними один штатский в темно-синем костюме.

— Роман Гаврилович у себя? — спросил один из военных у секретарши.

— Он занят,— сказала она.

— Подождем.

Они сели на стулья вдоль стены — штатский посредине, а военные по бокам. Военные застыли с неподвижными лицами, штатский же, наоборот, проявлял ко всему, что он здесь видел, живейшее любопытство. Он с интересом разглядывал приемную, секретаршу и Ермолкина. Ермолкин, в свою очередь, тоже исподтишка поглядывал на штатского. Это был высокий, средних лет человек начальственного вида. Держался он так, словно хотел показать, что попал сюда случайно, по недоразумению, которое вот-вот разъяснится, и те, кто привел его сюда, будут строго наказаны.

(Продолжение следует.)



Владимир  
ВОЙНОВИЧ

# ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Книга вторая

## ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ



Рисунки Геннадия Новожилова

Следует отметить, что Ермолкин и Нюра попали к подполковнику Лужину в самое неподходящее, а может, наоборот, в самое подходящее время — Лужину было в общем-то не до них. Только что из Центра поступила депеша, смысла которой Лужин не мог понять даже после расшифровки.

«Рамзай<sup>1</sup>, — говорилось в депеше, — ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса<sup>2</sup> по кличке Курт, прежде законсервированный<sup>3</sup>. Судя по косвенным показателям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, тов. Лаврентьев<sup>4</sup> приказал принять все необходимые меры и в семидневный срок выявить и обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение приказа возложена на вас лично».

Лужин был ошарашен.

На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватать любого, назови его Куртом — и в кутузку. А если он настоящий... Вот с настоящими работать было труднее. Опыта не хватало.

Лужин много раз перечитывал шифровку, вдумывался в каждое слово, но ничего понять не мог. Кто такой этот Рамзай<sup>5</sup>, и почему он сообщает из Токио? Как можно отдавать такие приказы, не имея хотя бы приблизительных данных, что это за Курт? Ну ладно, допустим, неизвестны фамилия, место жительства или работы, но должны же быть хоть какие приметы. Рост, возраст, цвет волос или глаз, к каким именно секретам имеет доступ.

Как всякий человек на своем месте, как подчиненные его самого, Лужин ругал высшее начальство, считая, что там сидят дураки, бюрократы, самодуры, которые отдают приказы, совершенно не считаясь с их практической выполнимостью. Однако по виду Лужина трудно было догадаться, что он чем-нибудь озабочен. Нюру, во всяком случае, он встретил так же приветливо, как и Ермолкина. Он усадил ее в мягкое кресло, а сам, болтая ногами, забрался в другое. Сел, сложил руки на груди и улыбнулся:

— Готов слушать вас с чудовищным интересом.

Нюра, не ожидавшая такого ласкового приема, растерялась и сказала:

— Я беременная.

— Что вы говорите? — Лужин хлопнул в ладоши. — Надо же! — Скатившись с кресла, он подбежал к Нюре и стал трясти ее руку. — Поздравляю. От

<sup>1</sup> Рамзай — Здесь и далее примечания автора. Кличка известного советского разведчика Рихарда Зорге.

<sup>2</sup> Канарис — шеф абвера (немецкой военной разведки).

<sup>3</sup> Законсервированный — очевидно, специальный термин. Трудно предположить, чтобы личный агент адмирала Канариса был законсервирован в буквальном смысле, то есть запечатан в жестяную банку. Впрочем, некоторые агенты, я слышал, бывают весьма неприхотливы.

<sup>4</sup> Тов. Лаврентьев — кличка тов. Берия, агента международного империализма.

<sup>5</sup> Имя Рихарда Зорге в то время было известно весьма узкому кругу лиц, в число которых Лужин, видимо, не входил.



души. Всея. Как говорится.— Вернулся в кресло.— И куда же вы хотите его определить?

— Кого? — не поняла Нюра.

— Его.— Лужин показал на ее живот.— Ребенка надо устроить. А отдайте его нам, а? Мы из него сделаем. Человека. Настоящего. А впрочем, это я так,— Лужин защелкал зубами,— шучу. Да.

Нюра смущенно потупилась и улыбнулась.

Помолчали. Лужин спросил Нюру, может ли он ей чем-нибудь помочь. Она заплакала и стала объяснять, что у нее мужика посадили, она за него хлопот, ей везде отказывают, как посторонней, а она не посторонняя, потому что она с ним жила.

Лужин слушал внимательно. Иногда прыгивал с кресла и начинал в волнении бегать по кабинету, потом опять возвращался на место и опять слушал. А когда Нюра кончила рассказывать, он подошел к ней, погладил ее по голове и с чувством сказал:

— Бедная женщина!

Нюра посмотрела на Лужина, подалась вперед, уткнулась головой ему в плечо и разревелась. Много ей за последнее время приходилось плакать, но так она еще не рыдала. Она пыталась остановиться, но не могла.

Лужин гладил ее по голове и бормотал:

— Бедная! Сколько пришлось пережить! Ну ничего. Ничего. Ничего. Ну.

Тут он забормотал какие-то слова, из которых Нюра поняла, что он, Лужин, приложит все усилия и что если не удастся вернуть Чонкина:

— Мы. Вам. Подберем. Кого-то. Другого. Еще лучше. Мы. Вам. Поможем. Но и вы. Нам. Помогите. Прошу. Очень! — Лужин закрыл глаза и приложил руку к груди.

Нюра не поняла, как и кого могут ей подобрать вместо Чонкина, она хотела сказать, что никого лучше ей не надо, что Чонкина ей вполне достаточно. Но Лужин своей просьбой о помощи сбил ее с толку, и она сказала, что, конечно, что если она может...

— Можете,— перебил Лужин.— Вы в Красном живете?

— В Красном,— кивнула Нюра.

— Ну как там? Как народ? Какие настроения преобладают?

Нюра посмотрела на него вопросительно.

— Не поняли? — улыбнулся Лужин.— Я по-моему. Говорю. Ясно вполне. Я спрашиваю: в вашей деревне у людей какое настроение? Грустное?

Нюре вопрос не понравился. Она стала выгораживать своих односельчан, уверяя, что настроение у всех, напротив, весьма хорошее.

— Хорошее? — обрадовался Лужин и отпрыгнул от Нюры.

— Хорошее,— подтвердила Нюра.

— Чудовищно любопытно. Война идет. Люди гибнут. А у них хорошее. Отчего же? Может, ждут? Немцев? — Он подмигнул Нюре и улыбнулся.

— Нет! — Нюра испугалась, что сказала что-то не то.— Немцев не ждут.

— А кого ждут?

— Никого не ждут.

— А откуда же настроение такое хорошее?

Нюра решила тут же исправить ошибку и сказала, что она не совсем правильно выразилась и что настроение у людей иногда бывает хорошее, но чаще совсем плохое.

— Плохое? — переспросил Лужин.— Подавленное? Не верят в победу нашу?

— Верят! Верят! — сказала Нюра поспешно.

— Но настроение плохое?

— Оно не плохое,— сказала Нюра и поняла, что запуталась.

— А какое же? — спросил Лужин.

— Не знаю,— сказала Нюра.

— Ну вот,— помрачнел Лужин.— Видите. Я к вам всей душой. Хотел помочь. Я откровенно. А вы не откровенно. То хорошее. То плохое. То не знаете. Значит, помочь нам не хотите?

— Почему же? — сказала Нюра, насупясь.

— Почему, я не знаю. Я вижу, что не хотите. Нам, конечно, и так известно все, но мне от вас услышать хотелось. Чем люди живут? Что говорят? Некоторые неправильно думают. Хотелось бы их вовремя выявить, поправить и удержать. Они потом. Сами. Спасибо скажут. Между прочим, что говорит ваш председатель?

— Наш председатель? — переспросила Нюра.— Об чем?

— Ну, вообще.

— Матюкается,— сказала Нюра.

— Матюкается? — оживился Лужин.— И как именно. Нет, я не к тому, чтобы вы повторяли, я спрашиваю: матюкается с акцентом политическим или так просто?

— Просто так,— сказала Нюра.

— Хм! — Ответами ее Лужин явно был недоволен. Казалось, он не только не верил, но и не хотел верить, что в деревне Красное все обстоит столь благополучно.

— Ну что же.— Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету.— Вы все-таки. Откровенно со мной не хотите. Ну что ж. Мил насильно. Не будешь. Как говорится. Мы вам помочь. А вы нам не хотите. Да. А между прочим, Курта случайно не знаете, а?

— Кур-то? — удивилась Нюра.

— Ну да, Курта.

— Да кто ж кур-то не знает? — Нюра пожала плечами.— Да как же это можно в деревне без кур-то?

— Нельзя? — быстро переспросил Лужин.— Да. Конечно. В деревне без Курта. Никак. Нельзя. Невозможно.— Он придвинул к себе настольный календарь и взял ручку.— Как фамилия?

— Беляшова,— сообщила Нюра охотно.

— Беля... Нет. Не эта. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта. Что? — насупился Лужин.— И это не хотите сказать?

Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, на глазах опять появились слезы.

— Не понимаю,— сказала она медленно.— Какие же могут быть у кур фамилии?

— У кур? — переспросил Лужин.— Что? У кур? А? — Он вдруг все понял и, прыгнув на пол, затопал ногами.— Вон! Вон отсюда!

Нюра тоже поднялась и отступала, оглядываясь.

— Вон! — кричал Лужин, толкая ее в спину.— Вон, мерзавка!

— Так, а насчет Чонкина как же? — спросила она, упираясь.

— Вон! — пыхтел Лужин, толкая.— Вон! Я тебе покажу Чонкина! Хочешь быть женой, будешь! Это мы можем. Это мы устроим. Всенепременно.

Вытолкнув Нюру, он вернулся к столу, промокнул платочком пот и отдышался. Нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Вот что,— сказал он ей,— дело этого Чонкина меня смущает чудовищно. Почему этот дезертир оказал сопротивление такое упорное? Тут что-то не так. И еще какой-то Курт. Запросите Филиппова, не связан ли этот Чонкин с каким-нибудь Куртом. Пошлите шифровку по месту прежнего жительства Чонкина. Пусть соберут данные. Кто такой? Чем занимался до армии? Все. Кто там еще ко мне? Зовите!

\*

Ермолкин еще писал свои показания, когда из кабинета Лужина выскочила Нюра, вся красная и в слезах.



Ермолкин подумал, что сейчас позовут и его, и заторопился. Но раздался звонок, секретарша, расправив гимнастерку, вошла к Лужину. Вернувшись, сказала одному из военных:

— Роман Гаврилович ждет.

Военные вскочили, подняли штатского, и все трое скрылись за дверью кабинета.

Пробыли они там минуты две-три, вдруг из-за двери донесся нечеловеческий вопль, и тут же дверь распахнулась, и те же военные повели своего штатского через приемную, но был он совсем не похож на того самоуверенного человека, который совсем недавно пересек порог лужинского кабинета. Он был уже без пиджака, в нижней, разорванной на спине рубашке, он шел, низко наклонив голову и вяло перебирая полусогнутыми ногами, а военные держали его с двух сторон, чтобы не упал.

Затем появился Лужин. Без улыбки, но возбужденный, следом за посетителями выскочил он в коридор, и оттуда Ермолкин услышал его громкий голос:

— Ведите его вниз и там поговорите. Постарайтесь его убедить!

Лужин вернулся, побежал к своему кабинету, но у порога обернулся, увидев Ермолкина:

— Ну как у вас? Все готово?

— Почти,— сказал Ермолкин переживая разнообразные чувства.— Я сейчас. Еще немного.

— Чудовищно сожалею,— улыбнулся Лужин.— Но времени нет. Совершенно. Давайте что есть.

Он побежал впереди Ермолкина по кабинету. Изящным движением ноги зашвырнул валявшийся на полу темно-синий пиджак, сел за свой стол, и голова его во все зубы улыбнулась Ермолкину.

— Прошу.— И маленькая ручка перекинулась через стол.

Дрожа от страха, Ермолкин протянул написанное.

— Так,— сказал Роман Гаврилович, поднеся бумагу к глазам.— «С большим трудовым подъемом встретили...» Это статья?

— Нет,— потупился Ермолкин.— Это мои признания.

— Оригинально,— поощрил Лужин.— Очень даже. Но как-то... Все же. Издалека.

— Я ведь все-таки журналист,— скромно улыбнулся Ермолкин.

— А-а, ну да. Понятно. Свой стиль. Очень неповторимый. Вообще-то говоря, другие у нас пишут проще. Некоторые прямо начинают: я, такой и сякой, сделал то-то и то-то. Но обычно. Это. Не журналисты. Впрочем. Попадают и... Ну что ж,— сказал он, выдвигая ящик стола и кладя в него сочинение Ермолкина.— Почитаем. С удовольствием. Превеликим. Чудовищное наслаждение заранее предвкушаю.

Он задвинул ящик и улыбнулся Ермолкину.

— А скажите, пожалуйста,— волнуясь, спросил Ермолкин,— что мне за это будет?

— За что? — переспросил Лужин. Он понятия не имел, за что «за это». — Ну, вообще меру наказания определяем не мы, а суд. Однако. Если. Иметь в виду. Законы времени военного...

— Но я прошу учесть, что я с повинной,— поспешно перебил Ермолкин.

— Ах да,— спохватился Лужин.— Чуть было не упустил. Значит, так. Если учесть, что, с одной стороны. Действуют законы военного. А с другой стороны, тот факт, что вы явились сами, а не то, что мы вас разыскивали, то... учтите, я за суд решать не берусь... это мое частное мнение... но я думаю. Так лет. Может быть, десять.

— Десять лет! — в ужасе закричал Ермолкин.— Но я же это сделал не нарочно!

— Именно это вас и спасает,— объяснил Лужин,—

если бы вы сделали это нарочно, мы бы вас расстреляли.

У Ермолкина голова пошла кругом. Он обмяк. Он закрыл лицо руками. И так сидел очень долго. Отнял руки от лица и опять увидел перед собой доброжелательное лицо Лужина.

— У вас еще есть вопросы? — спросил Лужин любезно.

— Нет, нет, у меня все.

— Так, а чего же вы, собственно, ждете?

— Да я жду... ну, когда меня... это самое... уведут,— нашел нужное слово Ермолкин.

— А-а,— кивнул Лужин,— понятно. Чудовищно огорчен. Но пока. Не можем. Никак. Так что езжайте к себе. Работайте. Пишите про трудовой подъем. И ждите. За нами не пропадет. Как только понадобится, так я за вами сразу кого-нибудь подошлю. А пока всего хорошего. Впрочем, одну минутку. Вас случайно Куртом? Не звали никогда? Нет?

— Меня? Куртом? — Ермолкин пожевал губами.— Ваш этот... назвал меня мерином. А Куртом...

— Нет? — спросил Лужин.

— Нет.

— Очень жаль,— улыбнулся Лужин.— Позвольте ваш пропуск. Я подпишу.

Говорят, потом в компании своих друзей Лужин рассказывал о несчастном редакторе и ужасно смеялся. Говорят, что он собирался как-нибудь на досуге почитать написанное Ермолкиным, но то забывал, то руки не доходили, а потом при отступлении наших войск часть архива была уничтожена, а вместе с ней и рукопись Ермолкина. Чудовищно жаль.

\*

Лейтенанту Филиппову.

Весьма срочно!

Совершенно секретно со спецкурьером!

Рамзай, ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса по кличке Курт, прежде законсервированный. Судя по косвенным показаниям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, приказываю принять все необходимые меры и в пятидневный срок выявить, обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение возлагаю на вас лично.

Выражаю крайнее удивление, что дело Чонкина до сих пор не закончено.

Лужин

\*

Мальчик, присланный из конторы, нашел Гладышева на лавочке перед домом, где Кузьма Матвеевич в погожие дни проводил все свободное время «после того несчастья», как он сам выражался. Все замечали, что после урона, нанесенного ему прожорливой Красавкой, Гладышев сильно переменился. Он стал угрюм, необщителен, не вел с односельчанами бесед на научные темы, и даже на огороде его, кажется, с тех самых пор никто ни разу не видел. Больше того, когда Афродита, воспользовавшись случаем, решила вынести из дому горшки с удобрениями, он никак ее действиям не препятствовал.

Сейчас он сидел на лавочке, смотрел в пустое пространство за речкой Тепой, когда перед ним возник мальчик без головы, голова была скрыта от Гладышева его же собственной шляпой. Гладышев приподнял шляпу и узнал в мальчике старшего сына счетовода Волкова Гриньку.

— Дядя Кузя, тебе телефонограмма, — сказал Гринька и протянул селекционеру полоску желтой бумаги.

Гладышев удивился, ему прежде телефонограмм не носили. Телефонограммы носили членам бюро райкома, депутатам местных Советов, иногда членам правления и активистам. Сердце Гладышева честолюбиво дрогнуло. Но текст прочесть он не смог, буквы были написаны коряво и мелко. Он разобрал только свою фамилию и цифру «10».

— Погоди, — сказал он мальчику и пошел в дом, помахивая принесенной бумагой.

Афродита на столе раскатывала зеленой бутылкой тесто для лапши. Геракл сидел на полу посреди комнаты и держал во рту большой палец правой ноги. Помахивая бумагой, Гладышев обогнул Геракла и прошел мимо жены, надеясь, что она спросит, откуда бумага. Афродита посмотрела на него, бумагу увидела, но ничего не спросила. Гладышев нашел сахарницу, вынул кусок рафинада, подумал, отколол половину и вынес во двор мальчику. Затем вернулся в дом за очками. В доме была та же картина, только Геракл сосал левую ногу. Гладышев знал, что очки должны быть на горке, но искать их стал на окне, желая привлечь к себе побольше внимания.

— Куда-то очки подевались, — сказал он в нарочитой досаде, шаря руками по подоконнику. — Телефонограмму прочесть надо, а очков нет.

Афродита скатала тесто в рулон и стала резать его на узкие полосы.

— Телефонограмму, говорю, слышь, прислали, — повторил Гладышев громче, переходя от наигранной досады к истинной. — Только что нарочный прискакал. — Ему самому при этом представился не мальчик Гринька, а лихой всадник на взмыленном скакуне.

Афродита, упрямая женщина, опять ничего не сказала, никак не выразила своего восторга по поводу столь незаурядного события. И Гладышеву ничего не осталось, как найти очки на своем месте. Он сел к окну, напялил очки на нос, прочел телефонограмму и похолодел. Его вызывали не на бюро райкома, не на сессию райсовета, не на совещание передовиков производства, а совсем в другое место.

— А-я-я-я-яй! — завопил Гладышев и схватился за голову.

Геракл так удивился, что вынул изо рта ногу.

Наконец дошло и до Афродиты, что случилось что-то неладное. Она перестала резать тесто и посмотрела на мужа вопросительно. Он продолжал вопить.

— Ты чего? — спросила она.

— И не говори, Афродита, — мотал головой Гладышев. — Пропал я, совсем пропал.

— Да чего ты орешь? — сказала Афродита скандальным, визгливым голосом. — Ты скажи толком.

Гладышев перестал вопить, снял очки и сказал тихо:

— Вызывают меня, Афродита.

— Куда? — не могла взять в толк Афродита.

— Куда, куда, — рассердился Гладышев. — Сама знаешь куда. Я про мерина написал в газету. Видать, за это.

Афродита бросила нож на стол и тоже завопила. Сперва она вопила что-то нечленораздельное, потом в ее крике стали различаться отдельные слова, потом Гладышев понял, что она причитает по нему, как по покойнику. Напуганный происходящим, заплакал и Геракл. Афродита подхватила его на руки и завывала громче прежнего.

— Да на кого же ты нас спокинешь, дите малое, неразумное, сиротиночку-кровиночку и вдову горемычную! Кормилец ты наш и поилец, куды ж ты от нас уходишь! По миру пойдем побираться, Христа

ради будем просить! А кто нам поможет, кому мы нужны? Ай-я-я-яй...

Гладышев был растроган до слез. Раньше Кузьма Матвеевич думал, что он для Афродиты ничего, ноль без палочки, а тут, ви-ишь, как убивается. Любит, стало быть, во как! И стало ему на душе так-то сладко, что принял он лицом своим выражение, будто и вправду покойник, и вслушался в причитания Афродиты, как в хорошую, хотя и печальную музыку. А Афродита вела причитания дальше, рисуя перед своим слушателем картину безрадостного будущего своего и ребенка:

— Удвоим, без мужеской помощи, будем перебиваться с хлеба на воду, будем с голоду помирать, в чистом поле будем мокнуть и мерзнуть, не имея крыши над головой...

— Вай-вай-вай! — завопил Гладышев. — Да что ж ты такое орешь? Я же тебе избу оставляю ладную, теплую, прошлым летом перекрытую. И что ты мене допрежь время хоронишь? Я ж ни у чем не виноватый, авось еще разберутся, увидят, что я свой человек, почти что из бедняков, в колхоз вступил одним из первых. Разберутся, слышь, Афродита, верно говорю тебе, разберутся, отпустят.

— А-ай! — безнадежно убивалась Афродита. — Оттуда не отпускают!

Закипела в печи пшенная каша, выбежала, залила углы. Из печи повалил пар вперемежку с дымом.

— Ты бы чем мужа хоронить вживе, за чугуном последила! — закричал Гладышев и, схватив ухват, сунулся в печку.

Афродита продолжала реветь, причитая, детским басом вторил ей голый Геракл.

На крик шаром вкатилась Нинка Курзова.

— Чего это у вас? — спросила она, зыряка по избе заплывшими глазками. — Ой, батюшки, Матвейч, живой. А я-то думаю, чего это Афросинья твоя голосит, уж не ты ли преставился. Ты же давеча жалился, что ноги на погоду крутит, и с лица бледный был. Меня еще Тайка пытается, чего, мол, Фроська у себя голосит, а я говорю, не иначе как Матвейч преставился.

— Уйди отсюда! — закричал Гладышев и двинулся к Нинке с ухватом. — Мы ишо поглядим, кто из нас преставился! — И поднял ухват над головой.

— Фулюган! — взвизгнула Нинка и, руками оберегая живот, задом вышибла дверь.

А там на гладышевский забор вся деревня опять навалилась в любопытном молчании.

— Ну чего там? — подступились к Курзовой бабы.

— Ой, бабы, и не пытайте! — замахала Нинка руками. — Наш огородник Фродиту свою учит ухватом, и мне чуть не попало, бьет прямо наотмашь.

— Эка невидаль, — сказала Тайка Горшкова. — Я-то думала и взаправду помер, а то ухватом.

— Чай его жена, так и поучить можно, — подтвердила и баба Дуня.

— Вестимо дело, жену кто ж не учит, — отозвалась продавщица Таисия.

Народ расходился разочарованно.

Но на другой день еще одна новость всколыхнула деревню: пропал Гладышев. Выписали полевой бригаде крупу и капусту, Шкалов приехал на склад полчать, а кладовщика нет. «Спит небось», — решил Шкалов и повернул лошадь к Гладышеву. А там Афродита в слезах. Ночью, говорит, Кузьма Матвейч ушел, скрылся в неизвестном никому направлении и записку оставил. Записку Афродита предъявила Шкалову. «Так сложились обстоятельства», — сообщал в записке ушедший, — что ухажу навсегда не от тебя, а из своей неудачной жизни. Лихом не поминай, а сына воспитай так, чтобы стал он преданным большевиком партии Ленина — Сталина наподобие Павла Корчагина, Сер-



гея Лазо и других равноценных героев. А если пойдет по научной части, то и мое дело, может быть, завершит, чего я не докончил. Засим остаюсь преданный вам с приветом, ваш покойный законный супруг Гладышев Кузьма».

Всей деревней обшарили соседний лесок, думали, может, где на суку удавился, — не нашли. Шикалов на лошади мотался к водяной мельнице (двенадцать километров вниз по течению Тепы), надеясь, что тело к запруде прибило, и то без толку. Вызвали из района уполномоченного, тот приехал не сразу и с большой неохотой. Составил акт и ругался, что, мол, в военное время, когда люди десятками тысяч гибнут за Родину, приходится еще всякими самоубийцами заниматься. Прошло еще несколько дней, и новые события заслонили собою такой незначительный факт, как смерть одного из рядовых колхозников.

\*

Между тем в то же самое время, когда лейтенант Филиппов мучился, не зная, как быть, запрос Романа Гавриловича Лужина относительно личности Чонкина достиг той самой местности, где проживал наш герой до призыва на военную службу.

Работник тамошних органов, симпатичный молодой человек, похожий на лейтенанта Филиппова, завел казенный мотоциклет и поехал в ту самую деревню, где родился и вырос Чонкин. (К слову сказать, деревня называлась Чонкино и в ней был Чонкинский сельсовет.)

Председатель сельсовета, увидя предъявленную ему красную книжечку, был словоохотлив и без колебаний выразил готовность оказать необходимое содействие приезжему. Трудность этого дела состояла, однако, в том, что, как выразился председатель:

— У нас этих Чонкиных, как собак. Вся деревня сплошь, вы не поверите, все сплошь Чонкины. Между прочим, и я сам тоже Чонкин, — сказал председатель и протянул приезжему свое депутатское удостоверение.

— Да, — сказал приезжий, не поглядев, — но того Иваном зовут.

— У нас и Иванов полно. Меня, к примеру, тоже Иваном кличут, — сказал председатель и улыбнулся смущенно.

— Но я думаю, — настаивал на своем симпатичный молодой человек, — что Иванов Васильевич не так уж много.

— Да я бы не сказал, что и мало, — отвечал председатель сельсовета, все больше смущаясь. — Я вот как раз и Иван, и, извиняюсь, Васильевич.

Молодой человек думал уже вернуться к своему мотоциклету (он не собирался из-за какого-то неизвестного ему и неизвестно кому нужного Чонкина надрываться на работе), когда появилась секретарь сельсовета Ксения, тоже, к слову сказать, Чонкина.

Председатель велел ей поискать по бумагам нужного Чонкина.

— А чего там искать? — сказала Ксения. — Иван Васильевич? Красноармеец? Дак это же Ванька. Ну тот, который на лошади говны возил. Не помнишь? Да князь же.

— Точно, князь! — обрадовался председатель открытию. — Он самый и есть. И как же мне сразу в башку не влетело, что он самый, князь, и есть.

— Князь? — поднял брови приезжий.

— Ну, дразнили его так, — беспечно сказал председатель. — У нас, знаешь, в деревне языки без костей, кому чего на ум взбредет, то и болтают.

— А чего болтают, — возразила Ксения. — Хоть и деревня, а тоже народ живет не дурее других. Болтать зря не будут. Я-то Марьянку хорошо знала, мы с ней шабрами были и по людям сызмальства

работали, я помню, как этот князь, Голицын ему фамилие, был у нее на постое. Молоденький такой, волос кучерявый, темный, как сажа, а лицо белое.

— Молоденький, кучерявый, — передразнил председатель, — ты со свечкой не стояла и не знаешь, жил с ней молоденький кучерявый ай нет.

— Жил, — уверенно сказала Ксения, не приведя, впрочем, никаких доказательств. Просто эта версия на фоне обыденной скучной жизни казалась ей более заманчивой, чем другие. Ей хотелось доказать приезжему, что хотя деревня их с виду самая неприметная, не лучше других, а и в ней случались истории необыкновенные.

Версия эта вполне устроила и приезжего. Как-никак не зря трудился, тратил время и казенный бензин. Он не думал потом, как отразятся добытые им сведения на чьей-то судьбе. Он не знал, ни кто такой Чонкин, ни что он сделал, ни в чем его обвиняют, он не желал Чонкину ни зла, ни добра, но версия, предложенная секретарем сельсовета, казалась ему интересней возможных других, и, вернувшись в свою контору, он с удовольствием отбил шифровку: «Произведенной по Вашему запросу проверкой установлено, что Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, уроженец деревни Чонкино, происходит из князей Голицыных».

\*

Подполковник Лужин не относился к числу людей, не умеющих владеть собой, но когда ему на стол положили это сообщение в расшифрованном виде, он сказал: «Ого!» — и заерзал в кресле. Потом он бегал по кабинету, потирал руки, щелкал зубами, бормотал: «Чудовищная удача!» — и опять бегал по кабинету, испытывая удивление, радость, восторг, то есть чувства, которые мог бы испытать рыбак, закинувший удочку на пескаря, а поймавший по крайней мере акулу.

— Чудовищная удача! — повторял он. — Чудовищная удача! И найти такое на ровном месте!

Впрочем, на ровном ли? Нет, он работал, он думал, он мог и не посылать никакого запроса, а вот послал же, значит, он почувствовал, что в деле Чонкина не хватает какого-то звена, может быть, важного. Значит, интуиция что-то ему подсказала, если он стал делать то, что мог сделать тот, кто ведет это дело, то есть Филиппов. И не только мог, но и должен был сделать Филиппов. А почему же не сделал? Молодость? Неопытность? Но ведь тут же никакой особенной премудрости нет, это же азы следственного дела, что, выясняя личность преступника, в любом случае надо послать запрос по преступному месту жительства. Нет, что ни говори, сказал себе Лужин, странно ведет себя этот Филиппов, чудовищно странно. Сначала позволяет одному человеку захватить в плен целую группу, затем руководит следствием из рук вон плохо и непрофессионально, не проводя элементарных следственных действий, что позволяет преступнику выдавать себя за простого дезертира, хотя на самом деле он если и дезертир, то не такой уж простой.

И опять интуиция что-то подсказала Лужину, и он вдумался в ее неясное бормотание, когда принесли и положили ему на стол новую депешу:

«Весьма срочно, совершенно секретно.

Подполковнику Лужину.

Вчера ночью в районе Долгова службой радиоперехвата зафиксирован выход в эфир неопознанного передатчика, работающего на частоте 4750 килогерц. Начало передачи пропущено, остальное удалось записать и дешифровать, привожу полный текст, полученный в результате дешифровки: «...Русские через какого-то японца из Токио напали на мой след, но их сведения обо мне пока что слишком расплывчаты.

Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет, здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают намного эффективнее. Тем не менее постараюсь действовать с предельной осмотрительностью.

Курт».

Лужин смотрел на депешу, перечитывал текст и сам не мог поверить своему счастью. Бывает, конечно, человеку везет. Но чтобы удачи одна за другой, и такие...

«Чудовищный дурак,— думал Лужин о Курте.— Русские проявляют «крайнюю беспомощность и некомпетентность»... Сам ты некомпетентный, идиотина! Ну кто же так раскрывается с первого раза? Ведь о сообщении японца из Токио знал в Долгове только один человек, и вычислить его несложно даже для такого некомпетентного человека, как я».

Вызвав к себе начальника следственного отдела, Лужин приказал установить за предполагаемым Куртом круглосуточное наблюдение.

Затем отправил в Москву шифрограмму: «Указанный Рамзаем агент обнаружен и будет арестован в ближайшее время».

И в ответ получил телеграмму открытым текстом: «Молодец».

\*

Покуда собирался народ, первый секретарь райкома Андрей Еремеевич Ревкин, не обращая внимания на общий галдеж, готовился к предстоящему заседанию. Иногда он нажимал кнопку звонка, и тут же бесшумно появлялась Анна Мартыновна. Ревкин только протягивал в сторону руку, как в ней оказывалась та самая нужная бумага, которую он и хотел.

Уже, кажется, все собрались, а заседание не началось. Ждали кого-то еще. Уже поговорили о болезнях, о погоде, о вреде табака, о пользе витаминов, о многом, что никого из присутствующих совершенно не волновало, но ничего не говорили о том, что их действительно беспокоило: о положении на фронте, о слухах относительно возможной отмены брони для некоторых должностей, о карточках и о том, чем вообще живут люди. Вдруг на пороге появилась Анна Мартыновна.

— Андрей Еремеевич! — сказала она взволнованно.

Андрей Еремеевич опрометью кинулся к двери, а остальные приникли к окнам. И все увидели, как к парадному входу райкома мягко подкатил, сверкая лаком, роскошный ЗИС-101. Это выглядело так, как если бы у причала мелкой речушки отшвартовался океанский лайнер. Подскочивший вовремя Ревкин распахнул переднюю дверцу, и навстречу ему, приветливо улыбаясь, вылез дородный мужчина в сером габардиновом плаще и в мягкой шляпе со слегка загнутыми вверх полями. Они трижды и почему-то взасос расцеловались, и при этом приехавший похлопал Ревкина по спине, а Ревкин, хотя и считался близким другом приехавшего, его по спине не похлопал, но сделал приглашающий жест рукой, после чего приезжий неторопливо поднялся на крыльцо. Члены бюро моментально отпрянули от окон и заняли свои места, и на лицах их возникли улыбки, обращенные к двери, как будто они ожидали, что сейчас войдет знаменитая киноактриса или просто очень красивая женщина. Но вошла не женщина, вошел тот человек, который приехал на ЗИС-101. Это был секретарь обкома товарищ Худобченко Петр Терентьевич. Улыбки собравшихся были обращены именно к нему, но не потому, что он пользовался уважением благода-

ря своим заслугам (о заслугах его мало кто чего знал), уважением пользовалась должность, которую он занимал. И если бы эту должность занимал какой-нибудь индюк или крокодил, то и ему улыбались бы точно так же, как улыбались Худобченко.

Как только Худобченко появился в дверях, все тут же с грохотом встали. Но Петр Терентьевич предупредительно поднял руку.

— Сидайте, товарищи,— сказал он на своем родном полуукраинском языке.

Тут же он снял с себя габардиновый плащ и шляпу и передал Ревкину, который повесил и то, и другое на свою личную вешалку. Худобченко остался в полувоенном костюме и в хромовых сапогах. Верхняя пуговица френча с накладными карманами была расстегнута, из-под нее выглядывал ворот украинской рубахи.

— Ну шо,— сказал он, приглаживая свои редкие волосы,— кажется, я немного опоздал?

— Начальство не опаздывает, а задерживается,— пошутил Ревкин.

Вопрос был задан в расчете на этот шуточный ответ и встречен, как всегда, благосклонной улыбкой Худобченко и одобрительным смехом в зале. Это повторялось каждый раз, когда Худобченко опаздывал, а опаздывал он всегда.

Он опаздывал не потому, что слишком много было дел (хотя их у него было немало), и не потому, что был неорганизован и не успевал, он опаздывал намеренно, полагая, что чем дольше подчиненные ждут, тем больше уважают.

— Петр Терентьевич, прошу,— пригласил его Ревкин на свое место за столом.

— Нет-нет,— поднял руку Худобченко,— ты здесь главный, ты и сиди. А я гость, я уж тут, в уголочку.

И он сел «в уголочку» у окна в мягкое кожаное кресло, которое там специально для него и стояло.

\*

— Ну что ж, товарищи,— оглядев присутствующих, сказал Ревкин.— Начнем, пожалуй.

Закрыли двери, отключили все телефоны, и началось закрытое, то есть тайное от других, или, говоря иными словами, подпольное, заседание. Почему же закрытое, почему же подпольное, точно сказать не берусь, должно быть, такая сформировалась традиция. Как до революции партия заседала подпольно, так стала заседать и после.

Первым пунктом повестки дня был доклад Борисова «О ходе уборки зерновых».

И хотя все знали, что ввиду дождя никакого хода уборки несколько дней не было вовсе, Борисов прочел свой доклад с самым серьезным видом, и все с самым серьезным видом слушали.

Затем опять поднялся Ревкин и объявил, что слово для сообщения имеет товарищ Филиппов.

Товарищ Филиппов встал, одернул гимнастерку. Он слегка волновался. Первый раз в жизни выступал он перед такой ответственной аудиторией. Он слышал, что опытные ораторы, чтобы речь их была гладкой и убедительной, из массы слушателей выбирают какое-нибудь одно лицо и обращаются именно к нему одному. Филиппов так и сделал. Из всех сидевших перед ним он выбрал одного, которого раньше где-то встречал, и говорил теперь, обращаясь как бы только к нему.

Среди наиболее отсталой части населения, сказал Филиппов, ходят самые нелепые слухи, возможно, возбуждаемые и распространяемые скрытыми враждебными элементами.

К такому относятся и слухи о так называемой банде Чонкина.

Лейтенант подтвердил, что такая банда действительно существовала, но она полностью разоблачена



и обезврежена, а сам Чонкин в ожидании справедливого и сурового суда сидит в тюрьме.

— Дело не в Чонкине, — объяснил лейтенант. — Я думаю, что здесь все коммунисты и все умеют держать язык за зубами. И я вам скажу по секрету: в нашем районе действует враг страшнее Чонкина. Это некий Курт, личный агент немецкого обер-шпиона адмирала Канариса.

При слове «Курт» Ермолкин съехался. Он сразу вспомнил, что об этом Курте совсем недавно его спрашивал подполковник Лужин. Честными глазами Ермолкин уставился на Филиппова, всем своим видом показывая, что к упомянутому Курту никакого отношения не имеет. Но лейтенант Филиппов, в свою очередь, пристально смотрел на Ермолкина. Ермолкин не выдержал и, выдавая себя с головой, отвел глаза и посмотрел на военкома Курдюмова. Курдюмов, решив, что Ермолкин подозревает его, посмотрел на лектора Неужелева, цепная реакция страха распространилась среди присутствующих, каждый из которых в реальность существования Курта не верил, но не имел никаких доказательств, что он и Курт не одно и то же лицо.

Впрочем, лейтенант Филиппов, кажется, никого конкретно все-таки не подозревал. Он только объяснил, что один шпион может нанести нашему государству урон больший, чем полк или даже дивизия, и попросил присутствующих проявлять максимальную бдительность, не разглашать государственных и военных тайн, присматриваться к окружающим и, если возникнут хоть малейшие сомнения или подозрения, немедленно обращаться с ними Куде Надо.

\*

Среди людей, собравшихся в приемной, находился и председатель Голубев. Он сидел под дверью Ревкина на одном из битых в ряд стульев и, положив ученическую тетрадь на полевую сумку, составлял тезисы своих будущих ответов на всевозможные обвинения.

Поэту, который возьмется всесторонне воспеть нашу действительность, никак нельзя пройти мимо темы ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО.

Персональное дело — это такое дело, когда большой коллектив людей собирается в кучу, чтоб в порядке внутривидовой борьбы удушить одного из себе подобных сдуру, по злобе или же просто так.

Персональное дело — это как каменная лавина: если уж она на вас валится, вы можете объяснять ей все, что хотите, она пришибет.

Тут же рядом с Голубевым сидел пожилой учитель местной школы Шевчук, маленький человек с красными склеротическими прожилками на щеках. Он был в очках, в стеганых ватных бурках с галошами и в залатанной телогрейке, подпоясанный узким ремнем. На коленях он держал старый буденновский шлем, одно ухо которого было оторвано. Голубев Шевчука знал случайно, как-то познакомились в чайной.

— За что вас? — спросил Голубев.

— За язык, — сказал Шевчук и показал на него пальцем. Голубев думал, учитель расскажет, что именно случилось с его языком, но тот замолчал, уставясь в одну точку.

Тут же были еще два персональщика. Один, парт-орг из колхоза имени XVII партсъезда Коняев, и другой, Голубеву неизвестный. Первый обвинялся в том, что растратил партийную кассу, а второй кого-то изнасиловал. Эти оба сидели с отрешенными и напряженными лицами, ни с кем в разговор не вступая.

Первым вызвали Коняева. Он там пробыл недолго и вышел в приемную, крестясь как бы понарошке.

— Что тебе? — спросил Голубев.

— Выговор, — сказал Коняев.

— А разговаривали строго? — спросил Шевчук.

Коняев смерил его взглядом и ответил сквозь зубы:

— А я врагам народа не отвечаю.

Шевчук от растерянности съехался и замолчал. Вторым вышел тот, который насиловал. Он был поразительнее.

— Не бойся, — сказал он Шевчуку, пряча партбилет в карман гимнастерки. — Там тоже люди сидят, не звери.

Выглянула секретарша:

— Шевчук, зайдите.

— Ой, батюшки! — восторженно Шевчук.

Он вскочил на ноги и уронил очки. Нагнулся, чтобы поднять, но потерял равновесие и наступил на них. Вконец растерявшись, он стал подбирать осколки.

— Товарищ Шевчук, — сказала секретарша, — оставьте, это и без вас уберут. И вы, товарищ Голубев, тоже можете зайти.

— Итак, товарищи, — сказал Ревкин, — нам осталось выслушать два персональных дела — товарищей Шевчука и Голубева. Товарищ Шевчук здесь?

— Здесь! — Шевчук вскочил.

— По этому делу докладчик у нас... товарищ Бабцова?

— Да, — сказала Бабцова, полная женщина в темно-синем жакете. Она была секретарем парторганизации в школе, где работал Шевчук.

Она вышла вперед к столу Ревкина и, стоя рядом с ним, зачитала историю преступления Шевчука.

22 июня, гуляя на свадьбе своей дочери и узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, Шевчук допустил политически незрелое высказывание. Коллеги на очередном партийном собрании просили Шевчука осознать свою ошибку и признать, что, хотя его высказывание, может быть, и не носило намеренно провокационного характера, объективно оно льет воду на мельницу наших врагов. Надо сказать, что под давлением товарищей Шевчук несколько смягчил занятую им позицию. Но в основном продолжал упорствовать в своих заблуждениях, считая, что он все-таки ничего особенного, как он выразился, не сказал. Собрание вынесло решение об исключении т. Шевчука из рядов ВКП(б) и просит райком утвердить это решение.

— Все? — спросил Ревкин.

— Все, — сказала докладчица, складывая очки.

Помолчали. Было слышно, как скрипит перо секретарши, которая вела протокол. Ревкин подождал, пока она кончит писать, и повернулся к обвиняемому.

— Шевчук, вы хотели что-нибудь объяснить, дополнить?

— Да, — сказал Шевчук, еле двигая деревянными губами, — я... собственно говоря... полностью признавая допущенную ошибку, хочу тем не менее обратить внимание товарищей, что мое высказывание никакого враждебного умысла не содержало.

— Как это не содержало? — вскинулся Борисов.

— А что он сказал? — раздался голос с места.

— А ну-ка повтори, что ты сказал!

— Я, товарищи, когда услышал о нападении Германии...

— Фашистской Германии, — поправили его с места.

— Да-да, разумеется. Именно фашистской. Услышав об этом, я сказал: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И все.

— Ничего себе все, — покачал головой лектор Неужелев.

— Да уж, — согласился с ним сидевший рядом военком Курдюмов.

— Значит, ты считаешь, мало сказал? — спросил Борисов. — Побольше б надо было, а? — Он хитро подмигнул Шевчуку.

— Да что вы! — Шевчук прижал руку к груди. — Я не в этом смысле.

— Ну, не в этом, — не поверил Борисов. — Ты что же думаешь, дети тут собрались из детского сада? Нет, брат, тут все стреляные воробьи, и нас на мякине не проведешь. И каждому из нас отлично понятно, что именно ты хотел сказать этими своими словами. Ты хотел сказать, что страна наша вступила в войну неподготовленной, ты хотел бросить тень на мудрую политику нашей партии и умалить личные заслуги товарища Сталина. А теперь будешь нам сказки рассказывать, он, мол, не в этом смысле.

— Между прочим, — подал реплику военком, — если не ошибаюсь, поговорка насчет Юрьева дня родилась во время введения полного крепостного права.

— Именно так, — подтвердил лектор Неужелев.

— Так вот ты еще на что намекнул, на то, что у нас, мол, еще крепостное право к тому же!

— Да нет... да я же...

— Товарищ Борисов, — вмешался Ревкин, — то,

что вы сказали, можно считать вашим выступлением?

— Да-да, — сказал Борисов.

— Товарищи, попрошу по порядку. Какие еще будут мнения?

— Разрешите мне, — поднялся прокурор Евпраксин. Устремив взгляд куда-то вдаль, он начал не торопясь: — Товарищи, всем известно, что наш строй самый гуманный строй в мире. Но наш гуманизм носит боевой, наступательный характер. И проявляется он не в слюнтяйстве и всепрощении, а в непримиримой борьбе со всеми проявлениями враждебных нам взглядов. Вот перед нами стоит сейчас жалкий человек, который что-то лепечет, и было бы естественным человеческим движением души пожалеть его, посочувствовать. Но ведь он нас не пожалел. Он Родину свою не пожалел. — Прокурор помолчал, подумал и продолжал с грустью: — Ну что ж, товарищи, не первый раз приходится отражать нам наскоки наших врагов. Мы победили белую армию, мы выстояли в неравной схватке с Антантой, мы ликвидировали кулачество, разгромили банду троцкистов, мы





полны решимости выиграть битву с фашизмом, так неужели же мы не справимся еще и с Шевчуком?

В дальнем углу, с грохотом отодвинув стул, поднялся Вениамин Петрович Парнищев, директор элеватора. Это был огромного роста мужчина, широкоплечий, с вьющимися волосами, падавшими на лоб.

— Тут некоторые, я вижу, слишком торопятся, порют горячку. А речь, между прочим, идет не о чем-нибудь, а о судьбе человека. Че-ло-ве-ка! — по складам повторил Парнищев и потряс над головой указательным пальцем. — И решить эту судьбу, не разобравшись во всем, как положено, мы не имеем права. Вот я, товарищи, с этим человеком... как тебя?

— Шевчук, — напомнил учитель с готовностью.

— Так вот, с этим Шевчуком я лично вообще не знаком. Но тут я послушал все это дело, и вот чего я понять не могу. Ведь ты же, — обратился он к Шевчуку, — советский человек?

— Советский, — поспешно согласился Шевчук.

— Коммунист?

— Коммунист, — подтвердил Шевчук.

— Так как же ты мог это сделать? — громовым голосом спросил Парнищев.

— Что сделать? — робко спросил Шевчук. Он был явно растерян. Ему казалось, что Парнищев каким-то хитроумным способом стремится его защитить, и Шевчук хотел подыграть Парнищеву, но не знал как.

— Вот что, Шевчук, — продолжал Парнищев. — Ты совершил грязный и нехороший поступок. Так имей же мужество его признать, и я первый обниму тебя, как брата. — Расставив широко руки, Парнищев даже сделал шаг к Шевчуку, но тут же вернулся и сел на место. — У меня все, товарищи, — тихо сказал он.

Все молчали и смотрели на Шевчука. Шевчук, переступая с ноги на ногу, мямл в руках выдавшую виды буденовку с одним ухом.

— Ну что ж, товарищи, — сказал Ревкин, — мы Шевчуку дали высказаться. Вы сами слышали, что он тут сказал. Он не хочет признать ошибочность своих высказываний...

— Хочу! Хочу! — чуть ли не рыдая, закричал Шевчук.



— Ах так! — удивился Ревкин. — Ну что ж, товарищи, послушаем.

Шевчук встал, подошел к столу и вцепился пальцами в сукно.

— Ну! — подбодрил его Ревкин.

— Товарищи! — неожиданно четко начал Шевчук. — Я совершил позорный для коммуниста поступок. В первый день войны, услышав поразившее меня сообщение, я смалодушничал, и у меня вырвались слова известной русской поговорки: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Это было ошибочным, политически незрелым выступлением. Я понимаю, что в конкретной обстановке некоторым товарищам мое выступление могло показаться враждебным...

— Что значит могло показаться? — перебил военком.

— То есть я хотел сказать, что объективно мое высказывание, может, и выглядит... но я не хотел...

— Он не хотел, — недоверчиво покачал головой Неужелев.

— Да уж, — сказал Курдюмов.

— Так вот что, Шевчук, — сказал Борисов как будто благожелательно. — Если уж стал признаваться, то не вилый. Здесь все свои, здесь слышали многое, и давали все как есть. А то хотел, не хотел. Мало ли кто чего хотел. Я, может, сейчас хотел бы с бабой на перине кувыркаться, а приходится вот с тобой тут возиться. А то еще хотел, не хотел. У нас вон за тобой еще какая очередь, а ты нам мозги мутишь. Начал говорить, так говори до конца: выступление мое было политически незрелым, клеветническим и объективно направлено против политики партии. Так?

— Так, — еле слышно подтвердил Шевчук.

— Ну вот, — повернулся Борисов к другим членам бюро, — вот видите, товарищи, Шевчук во всем признался. А тут еще некоторые сердобольные и добренькие находились, которые хотели ограничиться выговором. Какой тут выговор, товарищи, когда дело пахнет вражеской вылазкой, политической провокацией. И не мы должны Шевчуку заниматься, а, я прямо скажу, вон товарищ Филиппов.

Борисов сел. Шевчук продолжал стоять бледный как полотно. Он оглянулся на Парнищева, но тот обнимать его, как брата, не спешил.

— Ну ладно, — переглянувшись с Худобченко, тихо сказал Ревкин. — Вопрос насчет того, кого передавать товарищу Филиппову, мы с вами пока решать не будем, а Шевчука накажем нашей властью. Я думаю, что после всего сказанного правильно будет подтвердить решение собрания коммунистов школы об исключении Шевчука из партии. Другие мнения есть? Нет? Голосую. Голосуют только члены бюро. Кто «за»? Кто «против»? Воздержавшихся нет? Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой?

— Шевчук, я вам говорю! — повысил голос Ревкин. — Положите билет на стол.

Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пепельницами и чернильными приборами.

— Товарищ Шевчук! — закричал Ревкин. — Вы что делаете? Остановитесь!

Но на лице Шевчука появилось отрешенное и злобное выражение. Он продолжал пятиться, одновременно все более клонясь назад, а на губах его розоватыми пузырями вскипела пена. Кто-то вскочил на ноги. Кто-то, сидевший на другой стороне стола, ухватился за скатерть, пытаясь ее удержать. Скатерть треснула. Упал графин. Зазвенело стекло. И вдруг Шевчук с клокотом сукна в руках, не подгибая колен, ровно, как столб, опрокинулся навзничь. Громко хрустнул затылок.

Члены бюро повскакали на ноги и, вытянув шеи, смотрели на распростертое жалкое тело. Шевчук лежал, держа перед собою двумя руками клок сукна и буденовку, словно торговал ими.

— Кто-нибудь из медиков есть среди нас? — растерянно спросил Ревкин. — Раиса Семеновна!

Раиса Семеновна наклонилась над телом, и стоявшим сзади стали видны ее толстые ляжки, туго обтянутые резинками голубых трикотажных рейтуз.

— Пульса нет, — сказала Раиса Семеновна, с трудом разгибаясь.

\*

Вечерело. Возвращаясь домой с работы, лейтенант Филиппов шел усталой походкой человека, обремененного государственными заботами.

После недавних дождей было тепло и влажно. Окна многих домов были распахнуты настежь, из-за них выносились на улицу звуки человеческой жизни.

За двумя окнами было особенно шумно — патефон во все горло распевал «Кукарачу», там танцевали. Перед этими окнами лейтенант Филиппов невольно задержался. Мелькали нарядные платья местных девиц и военная форма командиров временно расквартированной в городе артиллерийской части. «Что ж, — отечески подумал Филиппов, — пусть люди повеселятся». Облокотившись на острые верхушки штакетника, он смотрел в эти открытые окна, и вдруг пронзила его внезапная зависть к этой чужой мимолетной жизни, которая была ему недоступна.

В такт музыке раскачивались пары. В папиросном дыму они медленно плыли, словно рыбы в аквариуме. На офицерах сверкали ремни новеньких портупей. И лейтенанту вдруг ужасно захотелось быть таким же, как эти парни, прямым и открытым, не наводить ужас на других и самому не бояться, танцевать с потной упругой девкой, целоваться где-нибудь в темных сенях, натываясь на коромысла и ведра, а потом с искусаанными губами уйти и пусть даже погибнуть за Родину, за Сталина, за эту девку или совсем ни за что. «Что это я? — спохватился он мысленно. — Откуда у меня такие настроения? Да, нас не любят. Да, нас боятся. Но ведь кому-то же надо все это делать», — уговаривал он сам себя, в глубине души подозревая, что как раз именно этого не надо бы делать никогда никому.

Неохотно оторвался он от чужого забора, от чужого хмельного веселья и пошел дальше.

\*

Печаль перешла в тревогу. Лейтенанту вдруг показалось... нет, не вдруг, а как-то постепенно проникало в него и усиливалось ощущение, что за ним кто-то следит.

«Это просто какая-то чушь, — сказал он себе, испытывая непреодолимое желание оглянуться, но не поддаваясь ему. — Никто не посмеет за мной следить. Со мною что-то творится, — подумал он. — Похоже, что я заболел».

Да, это не впервые ему казалось, что за ним следят. То есть бывало по-разному. Иногда, наоборот, казалось, что все его очень любят. Особенно после того, как стал лейтенант начальником Тех, Кому Надо, на каждом углу встречался он с проявлением народной любви.

В общем, дела у лейтенанта шли как будто неплохо. И начальником он стал, и на бюро райкома его хвалили, и все его любят...

Все, да не все. Роман Гаврилович Лужин явно к нему придирался. То с делом Чонкина, то Курта какого-то выдумал. «Приказываю... в пятидневный срок...» Приказывать-то легче всего. А где его искать, этого Курта, и по каким приметам?



Может, из-за этих мелких неприятностей и развилось у него что-то вроде мании преследования. Где бы он ни был — на работе, на улице, дома, — все ему казалось: кто-то неотрывно за ним наблюдает.

Дома доходило иногда до невозможного. Даже его родная тетка Пелагея Васильевна, или попросту тетя Поля, замечала, что с ним творится неладное. Бывало, за ужином он вдруг вздрагивал, поднимал голову, смотрел на дверь и неуверенно говорил тетке:

— Кажется, кто-то стучал.

— Да ты что? — удивлялась тетка. — Тебе померещилось.

Он ей не верил. Он подходил на цыпочках к двери, прислушивался, а потом рывком распахивал ее. Никого там, конечно, не было. Тетя Поля все замечала.

— И кого ты боишься? — спрашивала она. — Ведь во всем районе никого нет страшнее тебя.

Ах, эта тетя Поля! Она вырастила его и воспитала. Она любила его. Но с тех пор, как он стал служить Там, Где Надо, она изменила к нему отношение и, несмотря на свое пролетарское происхождение, превратилась в ужасную контру. Она говорила, что жизнь при царе была гораздо дешевле, и подсчитывала, сколько стоили тогда фунт масла или голова сахару, но из всех цен почему-то запомнил только, что ситец стоил восемь копеек аршин.

— Вы, тетя, — укорял он ее, — все назад смотрите, а надо смотреть вперед.

— Да ты, я вижу, догляделся, — усмехалась тетка, — что и под лавку зыркаешь — никто ль не сидит.

Иной раз она вдруг спрашивала с невинным видом: — Ну что? Сколько замордовали народу за текущий отчетный период?

— Да тише вы! — шипел он на нее и оглядывался. А потом, вздыхая, сокрушенно качал головой. — Не наши у вас взгляды, тетя.

— Да уж не ваши! — соглашалась она охотно.

Почему допускал он в собственном доме подобные разговоры? Почему иногда начинал даже оправдываться?

— Вы же знаете, тетя, что я туда попал случайно, — говорил он, но тетка не верила.

— Случайно туда, знаешь, как попадают: вот так! — И тетка красноречиво делала «руки назад».

\*

Дома взволнованная тетя Поля сказала лейтенанту, что его ищут. Прибегал посыльный, передал, что приехал подполковник Лужин с каким-то майором, они ждут Филиппова у него в кабинете.

Лужина он застал с своим столом. При свете настольной лампы голова Романа Гавриловича выглядела более уродливой, чем обычно.

Незнакомый майор, сцепив на колене руки, сидел у стены. Оба внимательно смотрели на вошедшего. Потом Лужин встал и медленными шагами приблизился.

— Ну здравствуй, Курт, — сказал он и, подпрыгнув, залепил Филиппову такую оплеуху, от которой тот рухнул на пол.

Уже к вечеру следующего дня бывший лейтенант Филиппов, похудевший и обросший бородой (известно, что у покойников и арестантов борода растет очень быстро), давал нужные показания...

## Часть вторая

\*

Чонкин спал на полу у дверей, привалившись щекою к параше, когда его растолкали, поставили на ноги. Он потряс головой, пришел в себя и удивился. В камере одновременно толклись человек шесть вер-

тухаев, и во главе их сам начальник тюрьмы старший лейтенант Курятников, маленький, коренастый, с бабым рябым лицом. Все они, в том числе и Курятников, были чем-то как будто взволнованы, смотрели на Чонкина с любопытством, но в то же время и с робостью.

На нарах народ заворочался, кто-то спросил, что происходит.

— Чонкина уводят, — сказал Штык с некоторым удивлением.

— А для чего столько народу?

— А кто его знает?

Тут послышался голос Манюни:

— Раз за одним столько народу прислали, значит, на расстрел.

— Как же на расстрел? — сказал Штык. — Ведь суда-то не было.

— А никакого суда и не нужно, — рассуждал Манюня. — Закон военного времени.

Чонкина от этих слов передернуло, хотя он и не мог представить себе, что вот сейчас прямо его выведут и расстреляют. Да и вертухаи во главе с начальником тюрьмы выглядели совсем обыденно. Начальник тюрьмы лично поднял шинель, отряхнул и, развернув, подал Чонкину, как подают швейцары.

— А сколько время? — спросил Чонкин, тыча и не попадая рукою в рукав.

Ему не ответили. Курятников, отступив назад, осматривал Чонкина придирчивым оком.

— Конечно, побрить его надо бы, — сказал он озабоченно, — да ладно.

— Слыхал, Манюня! — крикнул Штык. — Побрить, говорит, надо. А ты — на расстрел.

— А как же, — отозвался Манюня. — Как же небритого-то расстреливать? Не положено. Если больной, вылетат, если небритый, побреют.

— Молчать! — взвизгнул Курятников. — Еще одно слово услышу и...

Тут из-за параша поднялся профессор Цинубель и, подойдя к Чонкину, протянул руку.

— Прощайте, Чонкин, — сказал он сердечно. — Не робейте. Учитесь выдержке у Ильича. Помните...

Что именно помнить, Чонкин выслушать не успел, его вывели из камеры.

Тесной толпой прошли по коридору, затем через двор, к проходной. Возле тумбочки с наганом на боку стоял дежурный.

— Машина не пришла? — спросил начальник тюрьмы.

— Сломалась, — ответил дежурный.

— Ладно, пойдем так.

Начальник расписался в какой-то лежавшей на тумбочке книге, после чего Чонкина вывели за ворота и повели через площадь. Было темно, холодно, шел мелкий дождь.

— Сколько время? — опять спросил Чонкин, и ему опять не ответили.

Подошли к какой-то глухой двери, позвонили, она распахнулась, и стоявший за нею человек прижался к стенке, пропуская пришедших.

Вскоре очутились в знакомой Чонкину приемной лейтенанта Филиппова.

— Подождите, — сказал Курятников и, робко постучавшись, сунул голову в дверь. — Разрешите ввести?

— Введите, — донесся ответ.

\*

В комнате, которую Чонкин знал как кабинет лейтенанта Филиппова, горела яркая лампочка. Но за столом был не Филиппов, а незнакомый майор в новенькой гимнастерке, перекрещенной сверкающими ремнями. Другой незнакомец, с большой бритой головой

и в очках с толстыми стеклами сидел на стуле у стены. Шинель с меховым воротником (таких шинелей Чонкин прежде не видывал) была расстегнута, руки сцеплены на животе, ноги болтались, не доставая до пола. На соседнем стуле лежала фуражка с высокой тульей и брошенные поверх нее белые перчатки.

Курятников строевым шагом приблизился к бритоголовому, поднес руку к виску и визгливо закричал:

— Товарищ полковник, подследственный Чонкин по вашему приказанию доставлен.

«Ишь ты! — подумал Чонкин. — Полковник!»

— Выйдите и подождите за дверью, — не меняя позы, приказал полковник.

Курятников и конвойные вышли.

Полковник и майор каждый со своего места внимательно разглядывали Чонкина, а он стоял посреди комнаты, не зная, куда деть руки.

Вдруг полковник спрыгнул со стула и стал быстро бегать вокруг Чонкина, наклоняясь при этом, как мотоцикл.

— Вы, — мелькая перед глазами, бормотал полковник, — ожидали увидеть не нас, а Курта. Но его нет. Увы. Он чудовищно занят. Он дает показания. Весьма ценные между тем. И вам я тоже. Настоятельно рекомендую. Тем более, что нам. Все, все известно.

Он прекратил кружение так же неожиданно, как начал, вернулся к своему стулу, сел и принял прежнюю позу.

Заговорил майор. Он говорил медленно и бесстрастно:

— Ну вот что, милейший. Как вы только что слышали, Курт арестован, дает показания, и нам уже многое известно. Но необходимо кое-что уточнить. Своих противников мы умеем уважать. Вы долго и ловко водили нас за нос, играя роль Иванушки-дурачка. Ну что ж, играли великолепно, ничего не скажешь, но теперь как умный человек вы должны признать, что игра окончена.

— Точно сказано, — одобрил полковник и снова спрыгнул со стула. — Ваша карта бита, князь! — сказал он как в театре и откинул в сторону руку.

Чонкин вздрогнул. Он не думал, что его давнишняя клчка может быть известна этим людям.

— Я же говорю, — переглянувшись с полковником, усмехнулся майор, — нам все известно. Так что уж лучше сразу начистоту.

— Да, сразу начистоту, — приблизился полковник. — Для вашего же блага прошу вас очень. Итак, кто послал вас в деревню Красное?

— В деревню Красное? — переспросил Чонкин.

— Да, да. — Полковник нетерпеливо защелкал зубами. — В деревню Красное кто вас послал?

— Меня? — уточнил Чонкин и ткнул пальцем в грудь.

— Да, вас. Именно вас. В деревню Красное кто?

— Так ведь этот, — сказал Чонкин, надеясь, что полковнику действительно все известно. — Ну, старшина, ну, Песков.

— Песков? — недоверчиво повторил полковник. — Старшина? А Антон Иванович что говорил?

— Антон? — переспросил Чонкин. — Иванович?

— Я имею в виду Деникина, — подсказал полковник.

— Дикина? — Чонкин напряг память. — Может, Жикина? Это который на колесиках ездит?

— На чем? На колесиках? — переспросил полковник. — Ах, на колесиках?

Он сделал короткий выпад и ткнул Чонкина кулаком в живот. Чонкин открыл рот, пытаясь втянуть в себя воздух, и даже произнес какой-то звук вроде «а-а», но воздух не втягивался. С выпученными глазами Чонкин рухнул на колени, и только после этого воздух толчками стал пробиваться в легкие.

— Крепкий орешек, — потирая ушибленную руку, задумчиво сказал полковник.

— Да, — согласился майор, — с этим придется потрудиться.

✱

В тот дождливый месяц у Ревкина было много неприятностей. Полторы недели в районе работала специальная комиссия, которая затем составила секретный доклад «О некоторых недостатках в работе партийной организации Долговского района».

Комиссия пришла к выводу, что положение сложилось крайне нездоровое, мириться с этим нельзя, и предлагала немедленно покончить с благодушием, головотяпством и ротозейством, повысить бдительность, усилить политико-массовую и воспитательную работу и произвести кадровые изменения в руководстве районом.

Кадровые изменения в первую очередь были произведены Там, Где Надо. Лейтенант Филиппов, как известно, был арестован. Правда, уже через несколько дней за подписью Курта была перехвачена новая радиограмма, в которой сообщалось об аресте Филиппова. Эта радиограмма была совсем ни к чему. Она путала всю картину. Блестяще проведенная операция по выявлению, разоблачению и обезвреживанию Курта была отмечена благодарностями и орденами, присвоением новых званий. (При этом подполковник Лужин стал полковником.) Признать, что вместо Курта арестован кто-то другой, — значит отменить все эти награды и новые звания... Нет, это было никак невозможно. Поэтому на перехваченной шифровке наложена была резолюция:

«Это радиоигра. Противник надеется ввести нас в заблуждение. Приказываю: радиogramмы за подписью «Курт» игнорировать, а слежение за эфиром на данном участке прекратить».

На место лейтенанта Филиппова прибыл опытный специалист в данной области майор Федот Федотович Фигурин, который с первого дня повел себя весьма странно.

Приступая к исполнению своих обязанностей, Федот Федотович даже и не подумал представиться первому секретарю райкома. Это было что-то невероятное. Обычно таких начальников привозили областной начальник и секретарь обкома, если не первый, то хотя бы второй, и представляли районному партийному руководителю. Более того, новый начальник начинал изучать положение на месте именно с беседы с секретарем райкома. Этот же не только не был кем-то представлен, но и сам не выражал никакого стремления встретиться. Ревкину такое поведение нового начальника показалось до чрезвычайности странным. Но не набиваться же чужому на встречу! Ведь не Фигурин, а он, Ревкин, пока что главный человек в районе.

Вот именно что пока...

Однажды утром, просматривая за чаем местную газету, Ревкин нашел в ней на третьей странице подвал, крупно озаглавленный «Подвиг капитана Миляги». В очерке смутно рассказывалось о том, что, как известно, некоторое время тому назад на территории района орудовала банда (чья банда, не указывалось). На ликвидацию банды был брошен оперативный отряд под командованием капитана Миляги. Миляга был коварно захвачен в плен. Его пытали, на его спине вырезали звезду, глотку его заливали расплавленным свинцом, но враги так и не услышали от героя того, чего хотели. «Да здравствует Сталин!» — были последние слова героического капитана. Автор очерка даже и не потрудился объяснить, как можно кричать что-то с глоткой, залитой свинцом.

Ревкин не поверил своим глазам. Он позвал Аглаю.



— Это ж полная ложь! — сказал он ей.

— И к тому же вредная ложь, — согласилась Аглая.

Ревкин позвонил Ермолкину, но того не оказалось ни дома, ни на работе. В тот же день Ревкин собрал бюро райкома. Нашли и привели пытавшегося скрыться Ермолкина, у которого даже щеки тряслись от страха. На бюро Ревкин подверг очерк резкой критике. Он сказал, что такой очерк печатать было никак нельзя, потому что всем известно, как на самом деле погиб капитан Миляга.

— Конечно, — сказал Ревкин, — наша партийная печать должна излагать события в нужном нам свете. Но тебе, Ермолкин, следовало подумать, стоит ли изображать героем изменника Родины. Своим очерком ты только дискредитируешь нашу газету и всю нашу печать в целом. Это ж спроси на улице любого колхозника, и каждый скажет тебе, как погиб капитан Миляга. Для чего же ты печатаешь такую ложь? Сам ты это придумал или тебе кто поручил?

Ермолкин стоял, вытянув руки по швам, и мелко дрожал. Слышно было, как стучат его зубы. Видя его растерянность, Ревкин решил наступать дальше.

— Я тебя спрашиваю, Ермолкин, — сказал он уже более определенно. — Кто тебе дал задание дискредитировать нашу печать?

— Да, я... собственно... — залепетал Ермолкин едва слышно, — Федот Федотович мне сказал... — Тут он прикусил язык и оглянулся на Борисова.

Ревкин понял, что Ермолкину и тем, кто стоит за его спиной, пора показать характер.

— Так вот что, любезный, — сказал он, четко выговаривая каждое слово, — и никаких Федотов Федотовичей я лично пока не знаю. И газета наша «Большевистские темпы» — орган не Федота Федотовича, а райкома партии, и прошу это крепко зарубить себе на носу. А пока что я отстраняю вас от работы и возбуждаю против вас персональное дело. — Называя Ермолкина на «вы», он как бы переводил его за ту черту, за которой с человеком говорят уже не как с товарищем, а как с врагом.

— Ну и ну! — сказал вдруг Борисов.

— Товарищ Борисов, вы что-то хотели сказать?

— Да, скажу. — Борисов поднялся и заговорил не спеша: — Я тут, Андрей Еремеевич, кое-что недопонял. Я как-то думал, что бюро у нас коллективный орган, а вы товарища Ермолкина вроде как сами отстраняете от работы и сами возбуждаете персональное дело. Так вот мне не очень понятно, зачем мы-то сюда собрались? Это — первое. А второе, чего я недопонял, так это вот вашего отношения к погибшему капитану Миляге. Вы помните, здесь орудовала прямо, можно сказать, у нас на глазах банда Чонкина. И в этих условиях, когда нашим партийным, можно сказать, долгом является противопоставить подобным бандам наши органы, в этих условиях я не могу понять, для чего первому секретарю райкома партии нужно, чтобы работники органов в глазах населения выглядели предателями и изменниками.

Ревкин хорошо знал Борисова и понимал, что тот никогда не решился бы идти против мнения своего начальства. Если сейчас он это делает, то не иначе, как с чьего-то одобрения. Ревкин прекратил прения и в расстроенных чувствах уехал домой. Аглая, не ожидавшая увидеть его в столь раннее время, удивилась:

— Ты что, заболел?

— Нет, — сказал Ревкин и, уйдя к себе в комнату, заперся изнутри.

Пригнув к замочной скважине, Аглая видела, как ее муж, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходит из угла в угол по комнате. Время от времени он освобождал руки, чтобы погрозить кулаком кому-то.

— Ничего, — провозглашал он, размахивая кулаком. — Вы не на того напали! Я тоже кусаться умею! Я вам еще покажу!

Петр Терентьевич Худобченко жил недалеко от обкома, в старинном особняке, обнесенном каменным забором и охраняемом специальным нарядом милиции. Оставив машину возле зеленых ворот, Ревкин прошел через проходную. Его здесь знали и пропустили. Не спросил документов и швейцар, дежуривший у парадного входа.

— Они обедают, — сказал швейцар и улыбнулся Ревкину, как своему.

— Андрюшка! — услышал Ревкин радостный голос.

Он поднял глаза и увидел жену Худобченко, смазливую и упитанную дамочку, которую официально звали Парасковья Никитовна, а в узком кругу своих просто Параска. Она стояла на верхней ступени мраморной лестницы.

— Заходи, заходи, — сказала она. — А мы як раз обидать собирались. Скидай свий макинтош и поняй у столовку, там твий дружок сидит, ковыряе у носи.

Подождав, пока Ревкин поднимется, она провела его в помещение, которое называла столовкой. Это был большой зал с узорным паркетом, дорогими люстрами и гардинами. У окон стояли в кадках фикусы и пальмы, на стенах висели охотничьи пейзажи и среди них портреты Ленина и Сталина. Хозяин дома сидел за огромным столом, предназначенным, очевидно, для больших приемов, и потому сам казался маленьким.

— О, кого я вижу! — обрадовался он. — Ну, Параска, теперь куда не денешься, ставь горилку.

Выпили и закусили, и только после этого Ревкин решил поделиться своими неприятностями.

— Понимаю. — Худобченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. — История, шо и говорить, неприятная. Ну а для чего ж ты это делал?

— Что делал? — не понял Ревкин.

— Ну это вот... дискредитировал?

— Петр Терентьевич, — сказал Ревкин, — мне сейчас не до шуток.

— Та я ж разве шуткую. Я тебя серьезно спрашиваю, зачем ты это делал?

Ревкин попробовал зайти с другой стороны:

— Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь?

— Ну, знаю, — согласился Худобченко, но, как показалось Ревкину, не очень уверенно. — Водку пили, на рыбалку издыли.

— Но ведь ты же меня знаешь с двадцать пятого года.

— Ну хорошо, признаю, знаю с двадцать пятого года. Но поверхностно.

— Поверхностно? — переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза.

— А рекомендацию в партию не ты мне давал?

— Ну, это шантаж! — вырвалось у Парасковьи Никитовны.

— А ты помолчи! — цыкнул на нее Худобченко. — Тут мужеский разговор. Насчет шантажа не знаю, а шо до рекомендации, ну давал. Ну и шо? Я ж тоже человек, могу и ошибиться. Може, Ленин Троцкому давал рекомендацию, откуда я знаю.

— Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь?

— Та не, это я к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый...

— Почему был? — закричал Ревкин почти в ужасе. — Я еще, кажется, не умер.

— Та ну тебя, — махнул рукой Худобченко. — Ты, я вижу, еще и демагог хороший. Был, не был, я же тебе не про то, а про то, шо если органы в тебе

сомневаются, так, может, они тебя лучше знают, у них, может, есть основания.

Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться.

— Так,— сказал он горько,— вот ты, оказывается, какой. А я еще считал тебя другом. Ну что ж, я вижу, мне здесь делать нечего.

Худобченко ничего не ответил. Он сидел напыжвшись, не глядя на Ревкина, и лицо его было красным. Параска стояла в дверях, скрестив руки на своей пышной груди.

— Ну, я пойду,— сказал Ревкин со смутной надеждой, что его остановят.

Худобченко промолчал, а Параска отступила, освобождая дорогу.

— Я пошел,— еще раз сказал Ревкин.

И опять ему никто не ответил. Он спустился вниз, выхватил из рук швейцара плащ и выскочил наружу.

\*

Худобченко все еще сидел, подперев голову руками. Потом схватил графин, налил себе полный стакан и выпил залпом.

— Ты шо! — сказала Параска с упреком. — Тебе ж нельзя столько.

— А! — махнул рукой Худобченко. — Такого друга потерял,— сказал он и заплакал.

Параска подошла к нему сзади, обвила его жилистую шею своими пухлыми руками.

— Петро,— взволнованно сказала она,— ну шо ж робыты. На войне ж тоже люди гибнут.

— Да,— кивнул он, утирая слезы,— на войне тоже. Эх, Параска! — Он привлек ее к себе и усадил на колени. — Давай-ка заспаваем нашу любимую.

Параска подняла голову и, глядя куда-то в угол под потолок, звонким своим голосом затянула:

**Ихав козак на ви́но-оньку,  
Казав: «Прощай, дивчи́но-оньку!..»**

И разомлевший Петро Терентьевич, постукивая в лад рукой по столу, стал подтягивать ей вполголоса:

**Прощай, дивчи́но, черна бровы́на,  
Ийду в чужу стороно́нку.**

Чем дальше, тем больше вздувались жилы на шее Параски, и тем больше краснело ее лицо, и на более высокой и пронзительной ноте брала она следующий куплет песни, и казалось, сейчас сорвется и даст петуха, но не срывалась. А он меланхолично вторил ей своим тихим, задумчивым басом. И тому, кто слушал бы их со стороны, могло показаться, что в их песне вопреки словам и мелодии есть что-то подпольное, что-то незаконное и что им, закрывшимся в своей скорлупе, враждебен весь мир и они всему миру враждебны.

**Дай мне, дивчи́но, хусты́ну,  
Я десь у поли загы́-ьшу...  
Темною ночью закры́ють очи,  
Тай поховано́уть в моги́ли...**

\*

После того, как выяснилось высокое происхождение Чонкина, дело его вышло из разряда обыкновенных текущих дел, то есть таких, по которым можно принять любое решение. Оно стало делом особой важности или, уж если говорить с наибольшей точностью, делом особой государственной важности и было направлено «наверх», потому что хотя внизу все понимали или по крайней мере догадывались, что надо с этим Чонкиным делать, однако, чтобы не рисковать, ожидали официальных указаний. До получения указаний нижнее начальство проявляло некоторую нерешительность, что нашло отражение в следственных

документах и других материалах, связанных с этим делом, где Чонкин именуется и просто Чонкин и «так называемый Чонкин», а в некоторых случаях даже Белочонкин. Впрочем, уже и в этих документах мелькают иногда двойные фамилии Чонкин-Голицын и Голицын-Чонкин.

Так вот, дело Чонкина было отправлено «наверх» и шло по инстанциям, а тем временем майор Фигурин, пользуясь возникшей паузой, решил немедленно восстановить репутацию органов, пошатнувшуюся в результате неосмотрительной (скажем так) гибели капитана Миляги. С этой целью майор не только добился помещения в газете очерка о подвиге покойного капитана, но решил провести и другое важнейшее политическое мероприятие — захоронить останки героя публично и с подобающими почестями.

Однако при осуществлении этой операции возникло несколько необычное затруднение.

Похороны от других торжественных церемоний отличаются тем, что в них участвует хотя бы один покойник. А тут вся загвоздка состояла в том, что как раз покойника-то и не было. Было известно только, что капитан погиб под деревней Красное, но где в точности и вообще зарыт ли он в землю или валяется просто так, никто толком не знал.

Для обнаружения останков героя майор направил поисковую группу из шести человек во главе с сержантом Свинцовым, которому было приказано провести операцию в глубокой тайне, не привлекая к ней внимание местного населения.

\*

Дело было к вечеру. Плечевой возвращался из Долгова, куда ходил по каким-то своим делам, когда увидел странную картину. Какие-то люди бродили по полю, словно чего-то искали. Они то расходились в разные стороны, то сходились в кучу и что-то обсуждали, и опять расходились. Движимый любопытством, Плечевой направился к ним. Люди, бродившие по полю, заметив Плечевого, повели себя еще более странно — построились в колонну по одному и стали отступать к лесу. Плечевой нагнал их возле самой опушки.

— Здорово, мужики,— сказал Плечевой громко.

Те продолжали идти не отвечая.

— Эй! — Плечевой тронул крайнего за рукав. — Прикурить не найдется?

— Нет,— буркнул тот и повернул к Плечевому злое лицо.

— Ого! — удивился Плечевой, узнав Свинцова. — А я думаю, кто бы это мог быть. Ловите, что ль, кого?

Свинцов не ответил, но остановился. Остановилась и вся компания. Рассредоточились и стали обступать Плечевого.

— Вы чего это, ребята, чего? — испугался Плечевой, пятясь назад. — Я ж так просто, я ж ничего,— бормотал он, внимательно следя за Свинцовым, который, отвернув полу плаща, сунул руку в карман и теперь медленно ташил ее обратно.

Свинцов резко дернул рукой. Плечевой вздрогнул.

— На, прикуривай,— сказал Свинцов, протягивая спички.

— Ух, напужал! — признался Плечевой. — Да у меня-то ведь и табачку тоже нет.

Свинцов переглянулся со своими, усмехнулся, достал мятую пачку «Звездочки», вытащил корявыми пальцами две папиросы, одну протянул Плечевому.

— Кури.

Задымили. Свинцов, прикрывая ладонью папиросу, пыхтел, поглядывая на Плечевого, как бы колеблясь, спросить или не спросить. Наконец решился.

— Ты это вот что... — сказал он вроде просто из



любопытства.— Упокойника тут какого не встречал часом?

— Упокойника? — не очень удивившись, переспросил Плечевой.— Да не, вроде как не встречал. А что — убег?

— Кто?

— Ну этот же, упокойник.

Свинцов посмотрел на него прищурясь.

— Ты что дурочку городишь? Как же упокойник может убежать?

— Ну я и сам думаю своей головой, что не может. Наших-то упокойников мы обыкновенно в землю кладем, они не бегают. А этот... ты ж сам говоришь, не встречал ли?

Свинцов задумался.

— Ты это вот что... — начал он неуверенно с той же фразы.— У меня к тебе одно дело есть. Но если кому проболтаешься... — Он поднес к носу Плечевого кулак.

— Да ты что! — решительно возразил Плечевой, отстраняя кулак.— Чтоб я кому сказал! Могила!

— Ну гляди.— Приблизив лицо к Плечевому, Свинцов понизил голос.— Помнишь, у нас капитан был?

— Ну?

— Его ищем.

— Воскрес? — просто спросил Плечевой, опять-таки не удивляясь.

— При чем тут воскрес? — поморщился Свинцов.— Тело его ищем. Где-то он здесь захоронен. Не видал?

— Тела не видал,— сказал Плечевой.— А кости попадались. За тем бугром возле деревни пашня. За пашней канава, и там, в канаве, кости.

— Человецкие? — оживился Свинцов.

— Какие, врать не буду, не знаю, но есть. Там, значит, как на бугор подымешься, да, там пашня. Правда, там сейчас, пожалуй, размокло. Да, однако, обратно же, не потопнешь. Вспахано-то неглыбоко, я сам под зябь пахал, да. В прежние-то времена, конечно, пахали поглубже, поскольку земля своя. Теперича все колхозное. Теперича хоч так паши, хоч эдак, плата одна — вот.— Плечевой скрутил и показал Свинцову огромную дулю с далеко продвинутым большим пальцем.

— Что, колхозная система не ндравится? — бдително спохватился Свинцов.

— Политики касаться не будем,— уклонился от прямого ответа Плечевой.— А что до костей, так они как раз у той канаве и лежат; чистые, гладкие, воронами обклеванные, прямо хоть щас в музей. Вам небось для музея?

— Чего для музея?

— Да кости же.

— Да они нам вовсе и не нужны.— Вспомнив о секретности полученного задания, Свинцов решил напустить туману.

— А для чего ж спрашивал? — удивился Плечевой.

— А так просто, из интереса. А ежели ты кому скажешь, что костями интересовались, башку снесем, понял?

— Чего ж тут не понять, дело простое,— подтвердил Плечевой.

Плечевого отпустили, но брать кости сразу не решились — были слишком близко к деревне. Решили дождаться в лесу темноты.

\*

— Капитолина, я вас прошу сегодня задержаться,— сказал майор Фигурин своей секретарше.— Очень много дел. Нужно подготовиться к завтрашнему дню. Я сейчас ненадолго уйду, а вы побудьте. Если

позвонят из области, я — в клубе. Когда вернется Свинцов, пусть меня подождет.

— Хорошо,— сказала Капа.

В Доме культуры железнодорожников шли последние приготовления к торжественной церемонии. На сцене плотник Кузьма обивал красной материей гроб, стоявший на двух табуретках. Его работой руководили секретарь райкома Борисов, предрайисполкома Самодуров и редактор Ермолкин.

В глубине сцены расхаживал какой-то человек с блокнотом. Он размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и потом что-то записывал огрызком карандаша.

В углу сцены художник Геннадий Шутейников, наколол на фанеру лист ватмана, заканчивал портрет Афанасия Миляги, который по клеточкам срисовывал с маленькой паспортной фотокарточки. Карточка тоже была наколота на фанеру рядом с ватманом.

— Ну-ка, ну-ка.— Фигурин вгляделся в карточку, затем отошел подальше, чтобы сравнить с ней портрет.— Вы считаете, похож? — спросил он художника, в почтительной позе стоявшего рядом со своим творением.— У меня такое ощущение, что этот портрет напоминает мне кого-то другого.

— Вполне возможно,— сказал художник.— Карточка очень маленькая. А я обычно к праздникам рисую товарища Сталина. И знаете ли, рука сама...

— Что значит сама? — нахмурился Фигурин.— Рукой вот что должно руководить.— И он постучал себя пальцем по лбу.— Так что вы уж немного облик его, пожалуйста, измените.

— Да, но я боюсь, тогда он совсем не будет на себя похож.

— Это не важно,— сказал Фигурин.— Важно, чтобы он не был похож на того, на кого он сейчас похож. Вы меня поняли?

— Да-да.

— И вообще, вы знаете, я лично не был знаком с капитаном. Но я слышал, он был жизнерадостен, любил улыбаться, вот и сделайте ему улыбку.

— Неудобно как-то,— робко возразил художник.— Все-таки мертвый.

— Да, мертвый. Но в памяти нашей он должен оставаться живым. Вы меня понимаете, живым,— повторил Фигурин и улыбнулся печально.

Он отошел от портрета, и тут путь ему преградил человек с блокнотом. Фигурин посмотрел на него вопросительно.

— Серафим Бутылко,— представился человек.— Стихи пишу, печатаюсь в местной газете, вон у Бориса Евоньевича.— Поэт показал на Ермолкина, суетившегося вокруг гроба.

— Очень приятно,— сказал Фигурин.— И что же?

— Я тык-скыть хотел бы вас познакомить... кое-что создал к завтрашней тык-скыть церемонии.

— Что значит тык-скыть? — поинтересовался Фигурин.

— Ну это я тык-скыть... то есть в мысле «так сказать» говорю,— объяснил Бутылко, несколько смутившись.

— А, понятно. Если я вас правильно понял, вы сочинили стихи, которые хотели бы прочесть завтра.

— Да, над телом тык-скыть усопшего.

— Ну, насчет тела я не знаю. Над гробом, точнее. А сейчас хотите прочесть мне?

— Точно,— согласился Бутылко.— Хотелось бы тык-скыть узнать мнение.

— Ну что ж,— согласился Фигурин.— Если не очень длинно...

— Совсем коротко,— заверил Бутылко.

Он отступил на два шага и стал в позу.

— Романтик, чекист, коммунист,— объявил он, и все суетившиеся вокруг гроба обернулись. Только



художник Шутейников продолжал заниматься своим делом.

Держа в левой руке блокнот и размахивая кулаком правой, Бутылко завыл:

Стелился туман над оврагом,  
Был воздух прозрачен и чист.  
Шел в бой Афанасий Миляга,  
Романтик, чекист, коммунист.

Сражаться ты шел за свободу,  
Покинув родимый свой кров,  
Как сын трудового народа,  
Ты бил беспощадно врагов.

Был взгляд твой орлиный хрустален...  
Вдруг пуля чужая — ба-бах!  
И возглас «Да здравствует Сталин!»  
Застыл на холодных губах.

Ты стал недопетою песней  
И ярким примером другим.  
Ты слышишь, сам Феликс железный  
Склонился над гробом твоим.

Читая последние строки, Серафим заплакал.

— Ну что ж, — сказал Фигурин, — по-моему, ничего антисоветского нет. И вообще, — он сделал неопределенные движения руками, — кажется, неплохо. Но мне лично концовка, кажется, не совсем. Железный Феликс — это хорошо, образно, но желательно как-нибудь... ну, я бы сказал, пооптимистичнее.

— Побольше тык-скыть мажора? — спросил Бутылко. — Можно тык-скыть как-нибудь вот в таком духе:

Погиб Афанасий Миляга  
Но та-та в каком-то бою  
Я тоже когда-нибудь лягу  
За Родину тык-скыть свою.

Так?

— Вот-вот, — замахал руками Фигурин. — Как-нибудь в этом духе, но не лягу, — у вас в стихотворении уже один лежит, хватит, а как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам.

— Принимаю к сведению, — сказал Бутылко.

— Очень ценное замечание, — вставил Борисов.

— Ну ладно. — Фигурин посмотрел на часы. — Мне пора. Напоминаю всем: завтра в двенадцать часов.

Нужно, чтобы все было спокойно и организованно. Побольше людей с предприятий. И обязательно слушать, кто что говорит. Если услышите такие разговоры, что Миляга был не герой, а совсем наоборот, таких людей, пожалуйста, это просьба ко всем, берите на заметку и фамилии сообщите кому-нибудь из наших людей или еще лучше лично мне.

✱

Когда стемнело, Свинцов собрал свою группу на опушке.

— Ну пошли, — вполголоса приказал он и сам двинулся первым.

Он шел, пристально глядя себе под ноги, но не видел ничего, кроме смутно желтевшей стерни. Свинцов забеспокоился, что уже прошли то место, на которое днем указал Плечевой, и думал, не развернуть ли свою команду и не прочесать ли все поле шеренгой, когда под ногой что-то хрустнуло.

— Стой! — сказал Свинцов и нагнулся.

Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением:

— Кажись, оно. — И обернулся к своим спутникам. — Все сюда! Собирайте кости и кладите у мешок.

Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым.

— Слышь, сяржант, — тихо и с удивлением сказал Худяков, — кости-то быдто ужасно здоровые.

Свинцов и сам это заметил.

— Не твое дело, — пробормотал он сердито. — Бери какие поменьше.

Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета.

— Вы это вот что, — сказал Свинцов, — какие крупные, те об колено.

Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп.

(Окончание следует.)

## ИГРА по ПЕРЕПИСКЕ — ПРЕКРАСНАЯ ШКОЛА ШАХМАТ!

Шахматный кооперативный клуб «Каисса» проводит квалифицированные турниры для тех, кто не имеет разряда, и для I, II, III, IV разрядов, а также тематические турниры: «Королевский гамбит», «Испанская», «Сицилианская», «Французская», «Каро-Канн», «Староиндийская», «Защита Грюнфельда», «Английское начало». Участник получает справку о выполнении разряда, анализы своих партий, рекомендации по усилению игры. Турнирный взнос 15 р. (с анализом) или 6 р. (без анализа) высылайте почтовым переводом по адресу: 390046, Рязань, счет № 200461133 в облуправлении Жилсоцбанка МФО, а квитанцию об оплате и заявление — 390012, Рязань, а/я 242. Клуб «Каисса».

Помните ли Вы увлекательные путешествия сказочного Синдбада-морехода из «Тысячи и одной ночи»? Наша фирма «Синдбад» поможет Вам совершить путешествие в Италию и окажет содействие в поиске спутника жизни. Послание в наш адрес — 129010, Москва, а/я 28 — должно содержать сведения о желающих стать нашими абонентами: имя, фамилию, образование, основные черты характера, рост, наличие детей, домашний адрес, телефон, две фотографии (одна в полный рост) и квитанцию о почтовом переводе 50 рублей на расчетный счет № 3461249 3-С в Тушинском отделении Жилсоцбанка г. Москвы, МФО 201586. Почтовый индекс 123364. Телефон для справок: 412-49-21

Информационно-рекламное агентство «ИНРЕК»,  
129010, Москва, а/я 28, телефон 135-45-22



Владимир  
ВОЙНОВИЧ

# ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Книга вторая  
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ



Рисунки Геннадия Новозилова

Время близилось к полночи. Капитолина Горячева дежурила в приемной, ожидая возвращения своего начальника. Все было спокойно. Дважды звонили из области. Первый раз спросили, сколько сосисок осталось на складе. Капа сказала «шестнадцать». Второй раз интересовались, что слышно относительно кладов. Капа ответила, что клад пока ищут. Ей сказали: «Когда найдут, сообщите тестю».

Оба разговора были кодированы. В первом случае выясняли, сколько осталось дел, не законченных следствием, во втором — найдены ли останки капитана Миляги. Тесть — Лужин.

Звонил женским голосом какой-то мужчина и сказал, что может дать ценные сведения насчет Курта, но когда Капа спросила фамилию звонившего, он бросил трубку.

Делать было нечего. Капа попила чаю, достала из ящика стола потрепанную книгу рассказов Мопассана и погрузилась в чтение. Зачитавшись, она не слышала, как вошел майор Фигурин, и очнулась только тогда, когда он положил на ее плечо свою костлявую руку. Она смешалась и хотела сунуть книгу обратно в ящик, но майор перехватил ее, посмотрел на обложку, прочел фамилию автора. Хороший писатель, сказал он, правильно изобразил языки современного ему французского общества, но классовой сущности изображенных им же противоречий до конца не понял ввиду ограниченности собственного мировоззрения и не смог указать выхода из создавшегося положения. А выход этот был только в объединении и консолидации всех прогрессивных сил вокруг рабочего класса, вот до понимания чего Мопассан не дошел.

Обсудив с Капой достоинства и недостатки творчества Мопассана, Фигурин высказал беспокойство по поводу долгого отсутствия группы Свинцова, справившись, какие были новости, и ушел к себе в кабинет звонить «тестю».

Капа стала собираться домой, но тут опять появился Фигурин и спросил, не хочет ли она составить ему компанию и выпить с ним по рюмочке коньяку. Капа смутилась и сказала, что она никогда коньяк не пробовала, но от сведущих людей слышала, что он пахнет клопами.

— Распространенный предрассудок, — возразил майор Фигурин. — Коньяк — один из самых лучших и полезных напитков. Он изготавливается из чистейших виноградных спиртов, в отличие от водки не содержит сивухи, укрепляет стенки кровеносных сосудов и улучшает работу пищеварительного тракта. У меня, например, благодаря употреблению коньяка, всегда очень хороший стул, — сказал майор и улыбнулся интимно.

Может быть, этот пикантный довод показался Капе достаточно убедительным, она перешла в кабинет Федота Федотовича, который достал из сейфа початую бутылку, две маленьких металлических рюмочки и лимон. Подстелив чистый бланк протокола допроса, он нарезал лимон тоненькими кружочками при помощи маленького перочинного ножа, сделанного в виде дамской туфельки, и объяснил, что закусывать коньяк лимоном придумал сам Николай Второй.

\*

События развивались стремительно. Уже после четвертой рюмки Капа сидела на коленях Фигурину, а он, шаря рукой у нее под юбкой, читал, рассказывая, стихи любимого поэта:

Не жалею, не зову, не плачу.

Окончание. Начало см. в №№ 6—7, 1990 г.

Все пройдет, как с белых яблонь дым.  
Увядаян золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым...

— Будешь! — жадно и жарко дышала Капа.

— Разденысь! — приказал он, дрожа от нетерпенья.

— Как? — она удивилась. — Совсем?

— Совсем! — сказал он и убежал почему-то за шкаф.

Потрясенная, она торопливо раздевалась посреди комнаты. «Интеллигент», — думала, кидая подвязки на стул. Насколько выгодно отличался майор от покойного капитана Миляги, от этой грязной свиньи, которую теперь Капа вспоминала с отвращением. Ведь это грубое животное никогда даже не поинтересовалось ее телесной красотой. Ведь этот дикарь валил ее на диван, не давая снять даже сапог.

Капа разделась и в ожидании стояла посреди кабинета, чувствуя, как покрывается от холода или от страсти гусиной кожей. Стало даже как-то неловко. А майор все еще пыхтел за перегородкой. Слышно было, как что-то треснуло, и со звоном покатила по полу латунная пуговица.

И вдруг с ликующим воплем:

— А вот и я! — майор, словно кенгуру, вылетел в высокоом прыжке из-за шкафа.

— Ах! — в ужасе вскрикнула Капа и закрыла лицо руками.

Майор был совершенно гол и без всяких знаков различия, на нем поверх дряблого и в меру волосатого тела сверкали лаком перекрещивающиеся ремни портупей, и желтая кобур с торчащей из нее рукоятью нагана хлопала майора по белой ляжке.

— Что это? — ослабевшим голосом спросила Капа, отрывая от лица одну руку.

— Это? — смутился и покраснел Федот Федотович. — Это... — он хотел объяснить.

— Нет, нет, — сказала Капа поспешно. — Я про ремни.

— И я про ремни, — еще пуще смешался майор. — Я всегда... я никогда... и нигде... без оружия... — задышался он, толкая ее к дивану.

А потом была буря, перед которой бессильно даже перо Мопассана. Скрипели диван и ремни портупей. И плыл потолок, и качалась люстра, и рушились стены, и сквозь грохот обвала слышался отчаянный визг:

— А-а-а-а-а!

Капа только потом догадалась, что это визжала она сама.

Вдруг все стихло и невидимая труба тонко проиграла отбой.

\*

— Большинству людей непонятен смысл нашей работы, — говорил майор Фигурин, рассеянно вода мизинцем по Капиным кудряшкам. — Они нас боятся, они нас ненавидят, они втихомолку над нами смеются, они перед нами заискивают, но не понимают. А между тем, — он вскочил с дивана и заложил руки за спину, стал расхаживать по комнате, рассуждая, — смысл в нашей работе есть и смысл глубочайший. Вот представьте себе, что человек без нас. Без нас он живет, но как? Скучно. Он не знает, куда себя деть, и не знает, кому он нужен. Он ест, пьет, отправляет естественные надобности, ходит на работу, ссорится с женой, но у него все время такое ощущение, что он маленький человек, что никому до него нет дела. И вот приходим мы. И мы говорим человеку: ты

окружен врагами. Смотри, кто-то попытался отравить твой колодец, кто-то хочет украсть твоего ребенка. Мы говорим: смотри в оба, где-то рядом с тобой находится твой враг, он не дремлет. Мы говорим, что это не просто враг, не просто какой-то выживший из ума человеконенавистник, нет, он связан с международным капиталом, за ним стоят могущественнейшие силы. И человеку становится страшно, но в то же время он сам начинает себя уважать. Если на его жизнь постоянно покушаются такие силы, значит, его жизнь представляет собой...

Договорить ему не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился Свинцов. Сапоги Свинцова до колен были облеплены глиной, с брезентового плаща стекала вода, за спиной болтался намокший мешок.

— Ага, — сказал майор, — наконец-то явился.

Он сунул руку туда, где должен был быть карманик для часов, рука скользнула по голому телу. Фигурин опустил глаза вниз, потом посмотрел на Капу, которая с выражением ужаса на лице сжалась в углу дивана, перевел взгляд на тупое лицо Свинцова и вдруг осознав все, заорал не своим голосом:

— Кто разрешил входить без стука? Вон отсюда! — И огромный Свинцов, вышибя дверь, вылетел в приемную и, взмахнув руками, рухнул, причем голова его оказалась под столом Капы.

Майор тут же прикрыл дверь и закричал на Капу:

— Немедленно оденьтесь! Почему вы не по форме? Тьфу, что я мелю!

Он сам убежал за шкаф и стал торопливо приводить себя в порядок.

Свинцов очнулся оттого, что Капа лила на него воду из графина, а майор бил по щекам. Оба были одеты.

— Ну, ну, Свинцов, — говорил майор почти ласково. — Признаю, я немного погорячился. Мы с Капи-толиной Григорьевной работали, было жарко, ну немного разделись, а вы без стука... Вставай-те же, Свинцов, по-моему, все в порядке.

Свинцов со стоном приподнялся и теперь сидел, выткнув ноги и прислонясь спиной к тумбе стола. Он отупело и настороженно поглядывал на майора, на Капу, на мешок, валявшийся в стороне.

— Ну как? — спросил майор. — Уже лучше? Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, за чем я вас посылал?

— Там, — указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов. — В мешке.

— Там? — майор недоверчиво посмотрел на мешок. — Что же там прямо труп лежит? — он поежился.

— Не труп, а эти... — сказал Свинцов.

— Останки? — подсказал Фигурин.

— Остатки, — согласился Свинцов. — Кости.

— Ну-ка, ну-ка. — Майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце, посмотрел на нее, посмотрел на Капу, достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно, взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп.

— О, майн Готт! — почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза.

Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ощупывая длинными тонкими пальцами.

— Свинцов, — строго спросил Фигурин, — что это такое?

— Голова, — сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя.

— Не голова, а череп, — поправил майор.

— Ну череп, — легко согласился Свинцов. — Что в лоб, что по лбу.



— И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку?

— Кто возьмет, тому и принадлежит, — уклончиво ответил Свинцов.

— Сержант Свинцов! — повысил голос Фигурин. — Вы что из себя дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги?

Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно.

— А вы его видали когда? — задал он наводящий вопрос.

— Кого его?

— Ну капитана-то.

Майор, переглянувшись с Капой, признался:

— Не видел.

— Вот то-то. А она, Капитолина, видела. И может подтвердить: похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь евонная.

Фигурин опять посмотрел на Капу, она неуверенно пожала плечами.

Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны, и если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.

\*

Будучи в Долгове и проходя мимо Дома культуры железнодорожников, Нюра увидела необычное оживление. Пространство вокруг дома было оцеплено милицией и штатскими с нарукавными повязками. Возле самого Дома культуры толпились народ и стояли в ряд машины — одна грузовая с откинутым задним бортом и два военных автобуса — фары их были закрыты светомаскировочными крышками с узкими прорезями. Боковые борта грузовика были украшены красной материей с черными полосами по краям, а в кузове ближе к кабине стоял жестяной обелиск, сделанный в виде сужающейся сверху четырехгранной пирамиды с красной звездой наверху.

Люди, собравшиеся перед главным входом, прерывистым потоком втекали в открытые двери, а другие вытекали обратно, надевая на выходе шапки. Некоторые из выходивших шли дальше, другие останавливались в ожидании выноса, курили и вполголоса переговаривались.

Чуть в стороне ото всех других стояла группа руководителей района в длинных пальто и в дорогих шапках, а среди них кинооператор Марат Кукушкин, который явился со своим аппаратом, чтобы запечатлеть историческую церемонию для потомства.

К группе руководителей мягкой походкой подошел майор Фигурин. Он тронул за рукав Борисова и спросил, почему нет Ревкина.

— Не пожелал удостоить, — пожав плечами, сказал Борисов.

Из открытых дверей лилась траурная мелодия.

Нюра протиснулась внутрь и, продвинувшись немного вперед и по диагонали, увидела на сцене обтянутый красной материей гроб.

Рослый военный с красно-черной повязкой на рукаве через равные промежутки времени выводил из-за кулис очередную смену почетного караула. Люди, ее составляющие, шли гуськом, высоко поднимая ноги, и застыли каждый на своем месте, словно внезапно пораженные столбняком.

А надо всем этим — над гробом и почетным караулом — вознесся огромный портрет, с которого покойный приветливо улыбался всем, пришедшим его почитать.

— Батюшки, — не веря своим глазам, ахнула Нюра. — Как живой!

— Вы-таки правы, — шепотом согласился с нею старик в длинном плаще. — Я покойного хорошо знал и могу подтвердить: совсем как живой.

Чем дальше Нюра продвигалась вперед, тем гуще стояла толпа. В конце концов Нюра завязла. Слева от нее стояла старушка в черном платочке, а справа тот самый мужичок, который хлопотал насчет солом.

Старушка, глядя на сцену, крестилась и плакала.

Соломопроситель стоял молча. Он пришел сюда в расчете на то, что в непринужденной и расслабляющей обстановке похорон можно будет как-то неофициально подкатиться со своим вопросом к начальству и получить соответствующую официальную резолюцию, однако, судя по выражению его лица, надежды, видимо, оказались напрасными.

Вдруг музыка смолкла, на сцену один за другим с шапками в руках вышли несколько людей и шеренгой выстроились перед гробом. Они постояли, как бы выжидая, чтобы соответствующая моменту печаль поглубже проникла в души людей.

— Сейчас отпевать будут, — объяснила Нюре старуха в платочке и перекрестилась.

Секретарь Борисов сделал шаг вперед и поднял руку с шапкой, как бы призывая собравшихся к молчанию, хотя все и без того молчали.

— Товарищи, — сказал Борисов, — траурный митинг объявляю открытым.

Затем он сам же и выступил. Он рассказал краткую биографию покойного, который, якобы родившись в простой рабочей семье, с ранних лет познал голод, холод и нужду, характерную для условий того времени, рано начал задумываться над сущностью социальных противоречий и рано вступил в борьбу за свободу и счастье против темных сил реакции.

— Вражеская пуля, — продолжал Борисов, — оборвала эту прекрасную жизнь в самом расцвете. Перестало биться горячее сердце бойца и партийца. Но мы клянемся, что на смерть капитана Миляги ответим большим сплочением вокруг нашей партии, вокруг ее великого вождя товарища Сталина.

— Хорошо отпевает, жальливо, — сказала старуха и заплакала.

Прослезилась и Нюра.

Серафим Бутылко, слушая ораторов, икал и усмехался. Икал он от того, что с утра слишком много выпил (для храбрости), а усмехался потому, что слова выступавших казались ему слишком общими и казенными. Бутылко предвкушал, как выйдет он, прочтет свое стихотворение и все удивятся, какой все-таки замечательный талант произрос в этой удаленной от культурных центров местности.

И вот он вышел, помолчал и, размахивая кулаком, завыл:

**Стелился туман над оврагом,  
Был воздух прозрачен и чист.  
Шел в бой Афанасий Миляга,  
Романтик, чекист, коммунист.**

**Сражаться он шел за свободу...**

Тут Серафим загнулся и, кусая губы, стал смотреть в потолок. Он забыл, что дальше, он понимал, что запинка его ужасна, и от сознания того, что она ужасна, слова стихов совершенно вылетели из хмельной его головы.

Борисов, отстранив локтем Серафима, объявил:

— Траурный митинг окончен.

Он дал знак музыкантам, музыканты надули щеки, траурная мелодия вновь растеклась по залу.

Заплакала старушка в черном платочке, заплакала и Нюра. Она плакала сейчас не над Милягой, она не думала, хороший он был или плохой, но гроб, музыка, торжественная печаль обстановки действовали на нее так, что она заплакала просто по ушедшему из этого мира еще одному человеку.

\*

Широко распахнулись двери, и вышли музыканты: шестеро военных и среди них одна толстая баба в форме, с треугольничками в петлицах. Баба несла барабан и оттого казалась беспредельно беременной. Музыканты встали перед публикой лицом к дверям и приготовились. Возле них крутился кинооператор Марат Кукушкин.

Тем временем в клубе шли последние приготовления к выносу тела. Дважды пробежал по сцене Фигурин, шепотом отдавая кому-то какие-то распоряжения. Затем он выглянул в дверь, убедился, что оркестранты заняли свои места и что Кукушкин тоже готов к работе. Он вернулся на сцену.

— Товарищи,— объявил Фигурин,— приготовились к выносу. Кто понесет?

— Я! Я! — кинулся со всех ног Бутылко.

Он хотел хоть как-то заглядеть свою вину. Он оттеснил нерасторопного Ермолкина, встал перед ним. С одной стороны предрайисполкома Самодуров, с другой он, Бутылко, а за ним обиженно пыхтел ему в спину Ермолкин. Гроб был из сырых досок, тяжелый. Но Бутылко не чувствовал тяжести, ощущая себя таким былинным богатырем.

— Так, так, товарищи,— вполголоса командовал Фигурин.— Встаньте ровнее. Этот край чуть выше. Так. Пошли!

Вместе со всеми Серафим двинулся вперед. Распахнулись двери. В уши хлынула музыка, в глаза брызнуло солнце. Слегка прижмурившись, Серафим увидел толпу, увидел сверкающие на солнце инструменты, увидел кинооператора Марата Кукушкина, который пятясь крутил ручку своего аппарата.

«Для киножурнала «Новости дня»,— догадался Серафим и приосанился. Он представил себе, что фильм вскоре выйдет на всесоюзный экран и зрители во всех уголках страны увидят его, Серафима Бутылко, крупным планом. И может быть... Бутылко слышал, кто-то ему рассказывал, что Сталин лично просматривает все выходящее на экран. Может быть, просматривая очередную ленту и попыхивая своей знаменитой трубкой, он произнесет:

— А кто это такой молодой, симпатичный, который несет... да нет, не этот, я говорю: симпатичный. Вот тот справа? — и укажет мундштуком на экран.

И тут что начнется! Серафим живо представил себе, как забегают помощники по общим вопросам и по кино, как зазвонят все телефоны правительственной связи, личность молодого симпатичного тут же выяснят и вот он в мягком вагоне прибывает в Москву. Номер-люкс с бассейном и попугаями. Прием в Кремле. Дружеское рукопожатие товарища Сталина. Публикация массовым тиражом поэмы «Дума о хлебе», Сталинская премия, руководящая должность в Союзе писателей и...

Он не успел подумать, что и... он просто считал: и еще что-то ему полагается, когда нога его ступила в пустоту, он инстинктивно оттолкнул от себя гроб, чтобы не придавило, и полетел с крыльца, нелепо взмахнув руками.

Шедший с другой стороны Самодуров, почувствовав, что гроб валится на него, с большой силой двинул его обратно, а сам тут же отскочил в сторону. То же сделали и другие. Как-то так получилось, что

под гробом оказался один Ермолкин. С вытаращенными от растерянности глазами он стоял на последней ступеньке крыльца, словно былинный богатырь, приняв на себя всю тяжесть гроба. Гроб, покачиваясь на его плече, одновременно поворачивался, словно стрелка компаса, наконец, вовсе перекосялся, и, сбив с ног Ермолкина, устремился к земле. Отталкивая его, Ермолкин упал очень неудачно, ударился головой о булыжник и, уже теряя сознание, услышал чей-то запоздалый призыв:

— Держи! Держи!

Раздался ужасный треск, гроб торцом врезался в мостовую. Крышка, наживленная на четыре гвоздя, отскочив, накрыла до подбородка Ермолкина, а из гроба со стуком посыпались кости. Последним вылетел, ударился о камни и отскочил в сторону продолговатый череп. Майор Фигурин сделал неосознанное движение к черепу, хотел то ли схватить его, то ли прикрыть от народа, но не успел. Облезлая собака, вынырнув из-под ног, впилась в череп зубами и кинулась прочь. Может быть, не следовало ей мешать, но чей-то расторопный кованый сапог опустился ей на спину. Жалобно взвизгнув, собака выронила добычу и исчезла.

\*

Что было дальше, даже страшно рассказывать.

Народ пришел в ужасное возбуждение и угрожающе надвигался.

— Свят-свят-свят,— бормотала старуха в черном платочке, опять очутившаяся перед Нюрой.

— Лошадь! — скандальным голосом крикнула какая-то женщина.— Лошадь хоронят!

— Лошадь! Лошадь! — прошло по толпе.

Народ шумел. Раздался милицкий свисток. Послышался голос Борисова:

— Товарищи, успокойтесь! При чем здесь лошадь! Вот же покойник! — кричал он, пытаясь предъявить народу Ермолкина.

В это время как на грех Ермолкин открыл глаза.

— Живого хоронят! — завопила все та же женщина.

— Что? — пытались понять напивавшие сзади.

— Лошадь хоронят!

— Живую лошадь хоронят!

Шпики рассыпались по толпе и толкались, не имея достаточно ясных инструкций. Народ волновался. Находившийся в общей куче соломопроситель, пользуясь всеобщим возбуждением, решил выдвинуть свои экономические требования:

— Солому!

Ему ответили:

— Заткнись ты, чокнутый!

Майору Фигурину показалось, что кричат: «Свободу Чонкину!» Это впоследствии дало ему основания для просьбы об усилении местного гарнизона.

Волнение масс между тем усиливалось. Желая ввести стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузовик и величественно поднял правую руку. В это время гнилой помидор (кто-то, щедрый, не пожалел) залепил ему правый глаз. (Потом в донесении Фигурина отмечалось: «Имели место отдельные акты террора против представителей власти».) Борисов почувствовал удар, а когда разлепил глаз, увидел что-то красное.

— Убили! — тихо сказал Борисов и рухнул без памяти головой к обелиску.

Напряжение нарастало. Власти, стремясь овладеть положением, двинули на толпу один из военных автобусов, но он, какжется, тут же заглох.

Дело спас какой-то находчивый шпик. Вскочив на ступеньку автобуса:



— Братцы! — прокричал он. — В раймаге карточки пшеном отоваривают!

Соскочив с подножки, он первым побежал к раймагу. Народ растерялся, ахнул и кинулся за шпиком.

Пшена, конечно, не оказалось. Народ пошумел и утих. А тем временем на площади Павших Борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть:

**капитан**  
**АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ МИЛЯГА**  
**(1903—1941)**  
**геройски погиб в бою**  
**с белочонкинской бандой**

Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:

Череп советского комиссара Миляги



В общей суматохе одна потеря прошла почти незамеченной...

...Ермолкин лежал уже без сознания, когда крышка гроба, отлетев, упала ему на грудь. Очнувшись, он увидел себя лежащим навзничь на холодном булыжнике, увидел на уровне своего лица множество чьих-то ног, напрягся, но не мог вспомнить, почему он здесь и что было до этого.

Вокруг стоял шум и гам, и какой-то визгливый женский голос выкрикивал:

— Лошадь! Лошадь хоронят!

Что-то давило грудь, он посмотрел и увидел, что на нем, закрывая его почти до подбородка, лежит крышка гроба, обтянутая красной материей. Какой-то человек, указывая на Ермолкина пальцем, говорил: «Вот он, покойник!», а чей-то визгливый голос вопил, что хоронят живую лошадь.

Ермолкин не имел ничего против того, чтобы быть похороненным, но он всегда остерегался возможных ошибок.

— Вы заблуждаетесь, — поправил он, с достоинством улыбнувшись, — я не лошадь. Я Ермолкин Борис Евгеньевич.

Может быть, так он сказал, может быть, так подумал, может быть, и не сказал, и не подумал, а просто ему показалось, что он так сказал или так подумал.

Голова его от слабости свернулась набок, он увидел совсем близко что-то белое, что-то продолговатое, кажется, это был череп, да, это был лошадиный череп, он скалил зубы и пытался укусить Ермолкина в нос.

Ему не жаль было своего носа, ему теперь вообще ничего не было жаль, он только хотел понять, почему этот череп лежит рядом с ним. Но тут же вспомнив, что кого-то хоронят, что хоронят скорее всего его самого, он еще раз посмотрел на белый продолговатый предмет и понял, что это его собственный череп. «Значит, правда, я — лошадь», — подумал Ермолкин. Это было странно. Странно и смешно. Он работал ответственным редактором газеты, он занимал важный пост, и никто не заметил, что на самом деле он был просто лошадью, всего лишь лошадью, обыкновенной тягловой единицей конского поголовья.

Облезлая собака, появившись перед глазами, оскалилась и кинулась, рыча, на его отдельно лежащий

череп. Она впилась в череп зубами, Ермолкин понял, что сейчас ему будет очень и очень больно, он закрыл глаза, и сознание его опять помрачилось.

Снова очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика в облезлом танкистском шлеме.

— Молодой человек, — сказал старик. — Я бы на вашем месте здесь не лежал. Вы можете простудиться, попасть под машину или под лошадь.

Ему и раньше приходилось встречать этого отважного пожилого танкиста, но он не мог вспомнить, где и когда. Кажется, это было давно. А недавно тут бегали какие-то люди, кричали, сустились, хоронили кого-то, то ли его, то ли какую-то лошадь, да, точно, лошадь, но лошадью этой был именно он. Танкист тоже сказал что-то про лошадь.

«Но, — подумал он вяло, — если я лошадь и если меня похоронили, то почему у меня болит грудь, болит голова, почему я хочу пить и почему вижу перед собой этого танкиста?»

Он догадался, что похоронщики просто ошиблись, похоронили редактора вместо лошади, а лошадь или, точнее, мерин (кто-то, припомнил он, называл его мерином) случайно остался жив. И хотя у него все болело, он почувствовал радость, он понял, что ошибки бывают приятные, он думал, что лучше быть живым мерином, чем мертвым ответственным редактором.

Чего, однако, хочет этот танкист? Что он сказал про лошадь? Должно быть, его прислали, чтобы исправить ошибку...

Ермолкин решил притвориться человеком. Советским человеком и другом советских танкистов.

— Но если вдруг, — пропел он, улыбаясь танкисту, — нагрянет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...

В поле зрения рядом с танкистом появилась старуха.

— Мойша, — сказала она, — оставь ты его в покое. Ты же видишь, он-таки порядочно пьяный.

«Очень хорошо, — подумал Ермолкин. — Пусть думают, что я пьяный. Лошади пьяными не бывают». Он приподнялся на локте и еле слышно, но с чувством продолжил песню:

**Тогда нажмут водители стартеры,  
И по лесам, по сопкам, по воде...**

— Я вижу, что он пьяный, — сказал танкист, — но я боюсь, что он простудится и получит воспаление легких.

— Мойша, — сердито возразила старуха, — ты же хорошо знаешь, эти люди, когда напьются, лежат и в лужах, и в канавах, и где угодно, они привыкли и у них никогда не бывает воспаления легких.

Главное было достигнуто: эти люди считали его человеком. Теперь важно было, чтобы они поскорее ушли. Ермолкин закрыл глаза и притворился спящим. Когда он открыл глаза, рядом с ним никого не было. Он поднялся с большим трудом, во всем теле была ужасная слабость, ноги дрожали и разъезжались, как у малого жеребенка. И ему подумалось, что, может быть, он и в самом деле не мерин, а всего-навсего жеребенок, может быть, ему три с половиной года, его могут обидеть, могут зарезать, ему надо найти свою мать, она его прикроет, она его защитит.

Он куда-то пошел, идти было трудно, болела грудь, болела голова, очень хотелось пить.

У какого-то забора он увидел верховую лошадь, белую, красивую, с добрыми человеческими глазами. Привязанная к столбу, она стояла спокойно, но, увидев Ермолкина, повернула к нему морду и, раздувая ноздри, заржала. «Это моя мать!» — догадался Ермолкин.

— Мама! — сказал он и, встав на колени, прильнул к ее вымени. — Мама! — повторил он и, втянув в себя один из ее шершавых сосков, зачмокал вытянутыми в трубочку губами.

Почувствовав знакомое ощущение в области вымени, лошадь повернула голову, ожидая увидеть, быть может, своего жеребенка, но увидела двуногое существо, какое-то странное, грязное и больное. Лошадь подняла заднюю ногу, брезгливо махнула ею, и копыто ударило Ермолкина прямо в темя.

— Мама! — заплетаящимся языком пробормотал Ермолкин, лег на землю и тут же окончательно умер.

\*

Через несколько дней в газете «Большевистские темпы» появилась статья антрополога К. Ушастого — «Влияние социальных условий на антропологический тип».

В статье проводилась такая мысль, что, поскольку Октябрьская революция в корне изменила не только социальные условия жизни в нашей стране, но и внутренний мир человека — его отношение к труду, к обществу — это непременно должно привести и к внешним изменениям облика, а именно, со временем советский человек будет так же отличаться от всех остальных людей, как хомо сапиенс отличается от неандертальца. Конечно, эти изменения произойдут не сразу, но если, как учит нас марксистская диалектика, постепенные количественные изменения переходят в скачкообразные качественные, то нет ничего удивительного в том, что у отдельных людей, отличающихся последовательностью своих идейных убеждений и ясностью мировоззрения, уже сейчас становятся заметны антропологические изменения, которые в первую очередь, естественно, отражаются на строении черепа. Многочисленные и авторитетные исследования, утверждал автор статьи, неопровержимо показывают, что такие изменения происходят в сторону удлинения черепа вследствие удаления жевательных органов от мыслительных центров. «Такие изменения», развивал свою мысль Ушастый, — наблюдались и буржуазными учеными. Наиболее передовые из них отмечали, что длинноголовые (долицефалы) обладают, как правило, более сильным интеллектом, чем круглоголовые (брахицефалы)<sup>1</sup>, но ограниченность мировоззрения не позволила этим ученым (должно быть, они сами были недостаточно длинноголовыми) подняться до истинного понимания подобных явлений. Эти ученые на первый план выдвигают расовые различия, в то время как наша наука, опираясь на единственно правильное учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, расовому подходу к явлениям противопоставляет подход классовый».

\*

На эту статью обратили внимание многие, в том числе и Ревкин. Он эту ученую статью воспринял как выпад против себя лично и послал ее в обком с докладной запиской, в которой называл статью псевдонаучной и шарлатанской, утверждал, что она инспирирована, конечно, новым начальником Тех Кому Надо, который с самого начала ведет себя вызывающе, игнорирует партийные органы и тем самым противопоставляет свое Учреждение партии. Опровергая основные положения статьи, Ревкин пошел на весьма рискованное, если не сказать безумное, возражение, написав, что если бы марксистское мировоззрение

действительно влияло на строение черепа, то самый вытянутый череп был бы у товарища Сталина, ибо именно он обладает самым последовательным марксистским мировоззрением. «Между тем, — утверждал Ревкин, — стоит посмотреть на любую фотографию товарища Сталина, чтобы убедиться в абсурдности доводов К. Ушастого». Ревкин предлагал привлечь Фигурину к строгой партийной ответственности. Записку он эту направил в обком, но копию ее еще выше, в ЦК. Не дожидаясь ответа, он решил проявить свою власть на месте. Он написал короткую записку: «т. Фигурин, вам необходимо срочно зайти в РК для выяснения некоторых обстоятельств». Записку отправил с шофером Мотей и стал ждать ответа. Он явно нервничал и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Мотя вернулась через сорок минут.

— Почему так долго? — напустился на нее Ревкин.

Ответить она не успела. Вслед за ней вошли два рослых молодых человека в штатском, и один из них, улыбнувшись, спросил:

— Где у вас оружие, хозяин?

И самое удивительное, Ревкин не спросил у них никаких документов, сразу показал на ящик стола, в котором лежал револьвер.

В сопровождении молодых людей Ревкин вышел в приемную.

— Анна Мартыновна, — сказал он зачем-то секретарше, — я тут вынужден ненадолго удалиться. Если позвонят с бондарного завода, скажите, чтобы собрание проводили без меня.

— Хорошо, — сказала Анна Мартыновна, тревожно глядя на Ревкина. — А вы... скоро вернетесь?

Давая ей понять, что дальнейшее зависит не от него (хотя она и так все поняла), Ревкин посмотрел на одного из сопровождавших и вежливо спросил:

— Как вы думаете, мы скоро обернемся?

Но тот улыбнулся и сказал:

— Пойдемте, хозяин.

\*

Майор Фигурин встретил своего гостя радушно.

— Очень рад, очень рад, — бормотал он, пожимая Ревкину руку, — давно мечтал познакомиться, но не успел приступить к работе, сразу все навалилось, и этот Чонкин, и этот Миляга... так закрутился, что даже не смог выбрать время представиться вам. А тут как раз ваша записка. Вот я и подумал, что, пожалуй, будет удобнее, если мы встретимся у меня, а не у вас.

Затем он сказал, что поведение Ревкина последнее время его несколько беспокоит.

— Мне не очень понятно, — сказал он, — что вы так выступаете против этого несчастного Миляги, ведь он, собственно говоря, уже покойник, а вы... а вы еще нет, — Фигурин широко улыбнулся. — У вас с ним личные счеты?

— У меня ни с кем личных счетов нет, — резко сказал Ревкин, — а погиб Миляга не как герой, а как предатель. Я сам был тому свидетелем.

— Ах, Андрей Еремеевич, — покачал головой Фигурин, — не мне вам говорить, что нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. И потом это ваше возмущение, что там в гробу оказался не тот череп. Допускаю, что вы видели, как он погиб, но череп же его вы не видели. Ну, согласен, может, не тот череп, может, другой. Ребята наши тут торопились, некогда было, время военное, положили что нашли. Стоит ли из-за мелочей поднимать шум? Вы со мной не согласны? Ну хорошо. Вот вам бумага, пишите.

— Что писать? — спросил Ревкин.

— Напишите, когда и при каких обстоятельствах

<sup>1</sup> В сноске автор просил не путать последних с Буцефалом, конем Александра Македонского.



вы вступили на путь враждебной деятельности против нашего государства, кем завербованы, что успели сделать, какое получили за это вознаграждение, в какой валюте и так далее и тому подобное, мыслью по древу особенно не растекайтесь, но и упускать подробностей тоже не нужно.

— Послушайте, вы, — сказал Ревкин, — вам надо срочно обратиться к врачу, вы больны, у вас не все дома.

— Да, это мне некоторые уже говорили, — печально согласился Фигурин. — В том числе и врачи. Но где они? Нет, вы не подумайте, я не обидчив, вы меня хоть горшком назовите, мне все равно, но ведь я представляю собой некую известную вам организацию, и оскорблять ее я вам не рекомендую. Это может лишь ухудшить ваше и без того затруднительное положение. Сейчас вас отведут в камеру, и вы там в спокойной обстановке сосредоточитесь, подумайте, а потом поговорим еще. И пожалуйста, не проявляйте излишнего упрямства, потому что наши люди бывают порою грубы.

Ревкина увели в камеру и поместили среди разных преступников, что больно задело его самолюбие.

\*

Ночью он впал в истерику, бился головой о железную дверь камеры и никак не хотел внять уговорам надзирателя, что после отбоя шуметь не положено. Водворенный же в карцер, он и вовсе помешался и грозился послать телеграмму лично товарищу Сталину, но к утру затих и смирился.

Утром он попросился к Фигурину и там в его присутствии собственноручно записал свои показания. «В контакт с международной реакцией, — написал он, — я вступил в Лондоне. Мы провели несколько тайных встреч, на которых присутствовали Троцкий, Чемберлен и шеф гестапо Гиммлер. На этих встречах мы обсуждали разнообразные коварные планы, как-то: диверсии, саботаж и вредительство. Во исполнение этих планов, будучи секретарем райкома, я ввел в бюро райкома лиц, враждебно относящихся к советскому строю, и по рекомендации всемирной буржуазии направлял их деятельность на развал сельского хозяйства, резкое уменьшение продуктивности животноводства и снижение жизненного уровня трудящихся до минимальных пределов, с тем чтобы вызвать недовольство среди населения и, может быть, даже бунт. Последняя цель, однако, достигнута не была».

Записав всю эту абракадабру, Ревкин надеялся, что вышестоящее начальство поймет абсурдность выдвинутых Фигуриным обвинений, но этого, судя по дальнейшему развитию событий, не произошло.

Фигурин, прочтя показания, даже похвалил Ревкина:

— Вы очень хорошо пишете, — сказал он. — Богатая фантазия, хороший слог. Из вас мог бы получиться вполне приличный писатель.

К удивлению и тайной радости Ревкина, Фигурин не заметил в показаниях никаких противоречий и копию протокола отправил вверх по инстанциям. Ревкин ждал результатов с нетерпением и даже не без злорадства. Позднее он узнал, что показания и «наверху» были приняты с удовлетворением. Роман Гаврилович Лужин сказал о показаниях Ревкина: «Чудовищно интересно». Потом подумал и Чемберлена вычеркнул, сказав, что упоминать представителя Великобритани, союзника по антигитлеровской коалиции сейчас, пожалуй, не стоит. Вместо Чемберлена Лужин вписал Чонкина, которого Ревкин должен был признать своим главарем и который, в свою очередь, через какого-то Курта был связан с германским верховным коман-

дованием. Ревкин неожиданно оскорбился. Он согласен был считаться крупным преступником, но отказывался признать себя подручным какого-то Чонкина. Когда же его как следует побили, он и вовсе заартачился, озлобился, стал вести себя вызывающе. И вообще отказался от прежних своих показаний. Ему напоминали, что партия его вырастила, бесплатно учила, лечила, кормила, одевала и обувала, но он проявил полную неблагодарность и кощунственно написал: «С 1924 года состоял в преступной организации, называемой ВКП(б), занимал ряд руководящих постов и совместно с другими членами этой организации наносил максимальный вред стране и народу».

Прочтя это заявление, майор Фигурин тут же отправил Ревкина на психиатрическую экспертизу, где врач, хорошо знакомый с медицинской доктриной майора, определил:

«Больной страдает параноидной формой шизофрении, развившейся на почве длительной ненависти к советскому строю и сопровождающейся бредом величия и преследования. Прогноз сомнительный. Лечение симптоматическое. Противопоказаний к содержанию под стражей не имеется».

\*

Лаврентий Павлович Берия сидел за своим столом в расстегнутом габардиновом пальто, в сапогах с галошами и в серой шляпе, надвинутой на глаза.

Шел второй час ночи, он собрался домой, но сил не хватало подняться.

Москву, видимо, не сегодня — завтра придется оставить, а эвакуация важнейших предприятий и учреждений ведется неорганизованно, в панике. Не хватает подвижного состава.

В городе циркулируют дикie слухи и значительная часть населения поражена капитулянтскими настроениями, то есть, проще говоря, ждет немцев.

Но больше всего Сталина вывело из себя сообщение, что на территории одной из ныне оккупированных областей действовала разветвленная тайная организация, способствовавшая захвату этой области врагом, причем в организации были замешаны некоторые партийные работники и даже работники органов.

Сталин кричал на Берию и даже плюнул ему в лицо, но через некоторое время остыл и сказал: «Извини, нервы».

«Нервы не нервы, но зачем же плевать?» — думал Берия, когда дверь в кабинет отворилась и молодой полковник, исполнявший обязанности секретаря, приблизился и положил на край стола увесистую папку, перевязанную шелковыми тесемочками.

— Что это? — не подымая глаз, спросил Берия.

— Начальник управления контрразведки просил ознакомиться, — сказал секретарь и вышел.

Видимо, в папке было что-то сверхважное, если начальник контрразведки и секретарь решились побеспокоить наркома в столь позднее время.

Берия открыл один глаз, скосил его на папку, увидел крупно написанную фамилию Голицын-Чонкин, удивился, открыл второй глаз и придвинул папку к себе.

Развязал шелковые тесемочки и, плюя на палец, стал переворачивать подшитые к делу листы. Письмо о дезертире Чонкине за подписью «жители деревни Красное». Ордер на арест с продырявленной печатью. Протоколы допросов. Характеристика. Донесение Рамзая о каком-то Курте. Донесение с трижды подчеркнутыми красным карандашом словами: «происходит из князей Голицыных». Ордер на арест Курта. Протокол допроса, где Курт утверждает, что под личиной рядового дезертира скрывался князь Голицын. Еще куча всяких бумаг, в которых подследствен-

ный именуется: Чонкин, так называемый Чонкин, Белочонкин, Чонкин-Голицын и, наконец (кто-то догадался вывести нужную фамилию вперед), Голицын-Чонкин.

Берия сдвинул шляпу на затылок, подумал, нажал на кнопку, вызвал начальника контрразведки, которому дал пятнадцать минут на то, чтобы во всех бумагах вымарать фамилию Чонкин как совершенно излишнюю.

Пока исполнялось его приказание, он сделал короткую зарядку, выпил стакан крепкого чаю и отправился на «подземную дачу», как называлась временная канцелярия, расположенная на одной никому не известной станции московского метро.

\*

Сталин радушно встретил гостя на пороге своего просторного кабинета с глобусом и фальшивыми зашторенными окнами, точно такого же кабинета, какой был у него в Кремле. Некоторые люди, которых сюда привозили в закрытых вагонах, так и думали, что они находятся в Кремле, попав в него тайным подземным путем.

— Здравствуй, дорогой, — сказал Сталин, с протянутой рукой приближаясь к Лаврентию.

— Здравствуй, Коба! — ответил Лаврентий Павлович возвышенно.

Она сблизились, и Лаврентий Павлович, поставив портфель на пол, схватил протянутую ему руку двумя руками.

— Еще раз здравствуй, Коба! — отозвался гость с еще большим чувством.

— И еще раз здравствуй, дорогой! — Сталин обнял приехавшего и, щекоча усами, крепко поцеловал в губы.

— Здыр...ав...уй! — зашелся гость в экстазе.

— Проходи, дорогой, проходи, — сказал Сталин, похлопывая Берию по спине. — Как доехал? Как жена, дети? Здоровы?

— Слава Богу, здоровы. — Подняв портфель, Берия шел за Сталиным в глубь кабинета. — Вместе со мной, вместе со всем народом думают: лишь бы ты был здоров.

— Садись, дорогой. — Сталин указал гостю на кожаный диван, а сам отошел к своему столу, раскрыл папиросы «Герцеговина Флор» и, разламывая их, стал набивать табаком трубку.

— Мне кажется, ты чем-то расстроен, — сказал он, заботливо глядя на Берию, который сидел на диване и держал свой портфель на коленях.

— Я? — вскинул голову Берия. — Нет, ничего, пустяки.

— А все-таки?

— Не обращай внимания, — потупился Берия. — Это совсем ерунда. Ты не должен об этом заботиться. У тебя есть заботы поважнее.

— У меня, — согласился Сталин, — конечно, есть очень много забот. Но как же я могу о тебе не заботиться? Ведь ты мой верный соратник и мне неприятно, если ты чем-то расстроен. Мне очень хочется знать, что у тебя на душе.

— Вай-вай! — замахал руками Берия. — Какие, право же, пустяки. Да, ты очень зорко подметил, я немножечко огорчен, я вот столечко огорчен твоим недоверием, но это не имеет совершенно никакого значения.

— Что значит не имеет значения? — нахмурился Сталин. — Это имело бы очень большое значение, если бы было правдой. Но ты мне скажи, в чем ты видишь мое недоверие?

— Ну хорошо, я тебе скажу, но мне, право же, неудобно. Это маленькое недоверие проявляется

в том, что твои люди возят меня в закрытом вагоне, как будто я какой-то преступник. Я, конечно, понимаю, что в жестокий период военного времени нужна очень высокая бдительность и твоя жизнь дороже зеницы ока, но все-таки такое обращение немножечко, чуть-чуть-чуть унижает мое человеческое достоинство.

— Человеческое достоинство? — удивился Сталин и, попыхивая трубкой, прошелся по кабинету. — Я тебя очень хорошо понимаю, Лаврентий. Но посуди сам, что я могу сделать со своими людьми? Они так любят меня. Они так боятся за меня. Они же не только тебя, они всех проверяют.

— Да-да-да-да, — закивал Лаврентий, — это, конечно, правильно. Но все-таки мне казалось, все-таки я иногда думал, что я для тебя — как бы это сказать? — немножко не все.

— Да, конечно. — С трубкой в зубах Сталин присел рядом, причмокивая. — Ты не все. Ты для меня особенный. И я должен тебе доверять на сто процентов и даже немножко больше. Но иногда я вот чувствую почему-то, что из всех людей, которые здесь бывают, я, пожалуй, никому не верю меньше, чем тебе.

Сталин вынул изо рта трубку, резко повернулся к Лаврентию и стал смотреть на него не мигая, как будто пытался прочесть его ответные мысли. Лаврентию взгляд хозяина очень был неприятен, но он не отвернулся и не потупился, а напротив, сквозь пенсне тоже смотрел на Сталина, не мигая. Так они сидели и смотрели друг на друга не отрываясь, как два удава. Сталин сдался первым.

— Черт тебя знает, — сказал он, отворачиваясь и вздыхая. — Всех вижу насквозь, одного тебя только не вижу. Иногда думаю: может быть, он честный человек, иногда думаю, может быть, он собака. Может быть, думаю, он уже договорился с Гитлером или с Гиммлером, чтобы Москву сдать, а меня выдать. А? — Сталин опять повернулся к Берии и уставился на него. — Признайся, договорился?

— Я? — Отбросив в сторону портфель, Лаврентий Павлович пал на колени, обнял сапог Сталина, прижал его к сердцу, прижался к нему щекой. — Коба, — сказал он с упреком, — как можешь ты так говорить? Да, я собака. Собака, да. Но собака чем отличается от человека? Она отличается преданностью своему хозяину. Ты меня обижаешь, но преданный пес не может обижаться на своего хозяина, и я на тебя не обижаюсь. И если тебе нужно, чтобы я кого-нибудь грыз и кусал, я буду его грызть и кусать. Ты мне только укажи пальцем и скажи «фас!», и я...

Лаврентий Павлович встал на четвереньки и осклалил зубы.

— Ладно. — Сталин был растроган. На щеке его блестела слеза. Он погладил ладонью вспотевшую лысину Лаврентия Павловича. — Ладно. Это я так. Просто хотел тебя немножко проверить. Настроение, понимаешь, плохое. Сиджу здесь, как крот. — Сталин встал, подошел к глобусу. — А немцы вот они уже где. Вот. Совсем близко. Как ты думаешь, Лаврентий, Москву, наверное, придется сдавать.

— Нет, — сказал Лаврентий, отряхивая колени, — не придется. Теперь не придется.

— Теперь не придется? — прищурился Сталин. — А что же теперь такое случилось, что теперь не придется?

— А вот я тебе сейчас кое-что покажу, — сказал Лаврентий, расстегивая портфель и вынимая папку с шелковыми тесемками. — Ты же понимаешь, я бы не решился беспокоить тебя в столь позднее время по пустякам. — Он поднес папку и положил на край стола. — Вот, — сказал он торжественно, — дело князя Голицына.



— Голицына? — удивился Сталин.

— Князя Голицына, — повторил Берия, ставя ударение на слове «князя». — Обширнейший заговор. Мои ребята поработали. Постарались. Да ты сам почитай. Ты сам все увидишь.

Сталин прочел и увидел.

\*

В ту ночь Нюра долго не засыпала. Вспомнила Чонкина, всю свою жизнь и всякую ерунду, много чего лезло в голову.

Потом приснилось ей, будто идет она с Чонкиным по какому-то полю, он держит ее за руку и спрашивает, далеко ли еще, а она отвечает: нет, совсем недалеко. И встречает их подполковник Лужин в одних кальсонах и галошах на босу ногу и говорит: «Вот, Беляшова, я как раз хотел предложить вам вместо нашего Чонкина этого, может быть, он вам подойдет». Нюра смотрит на Чонкина, а он ей подмигивает, мол, соглашайся, потому что я это я и есть. И Нюра пылливо смотрит на него и никак не может понять, настоящий ли это Чонкин или какой-то другой, подделанный под настоящего.

Чтобы рассмотреть Чонкина как следует, она зажгла керосиновую лампу, и лампа засияла так ярко, что Нюра проснулась. И увидела не во сне, а наяву, что вся комната озарена каким-то действительно ужасным пронзительным и неестественным светом, Нюра слетела с лавки, глянула в окно и закричала. Все пространство за окном было залито этим пронзительным мертвым светом без теней, речка Тепа пылала, огромное пламя клубилось над ней, казалось, по всей длине. Пламя как будто двигалось от речки к деревне, было похоже, что вот-вот все займется, все запылает.

Тут с неба на середину улицы опустилась длинная фигура в белом. Воздев руки кверху, фигура часто перебирала ногами и подпрыгивала, словно исполняя какой-то шаманский танец. Вдруг она повернулась к Нюре белым лицом и глаза ее страшно сверкнули.

— Ай! — закричала Нюра, узнав в фигуре покойника Гладышева.

Потом появились на улице и другие фигуры в белом. Это народ, видя наступление конца света, высыпал наружу в одном исподнем. Какой-то ошалелый петух, решив, вероятно, что проспал день, вскочил на забор, захлопал крыльями и пронзительно закричал.

Между тем наиболее хладнокровные люди, приходя в себя, осознали, что этот ужасный слепящий свет исходит от каких-то машин, полукольцом охвативших деревню. Сколько их было — пятьдесят? сто? тысяча? — впоследствии высказывались самые разнообразные версии. В этом свете пар, клубившийся над речкой Тепой, казался пламенем.

Потом уже стало известно, что это была разработанная Там Где Надо и блестяще проведенная операция, за которую руководители ее получили награды, которая впоследствии многократно упоминалась в различных приказах, инструкциях и тактических разборах. Спустя три года она была блистательно повторена маршалом Жуковым на Кюстринском плацдарме и навсегда осталась в истории.

Люди еще только приходили в себя, когда в деревню въехал грузовик с торчащими в разные стороны растрескавшимися вроде граммофонных, но гораздо больших размеров.

— Внимание! — кричал оглушительный лающий голос. — Всем жителям деревни приказываю: взяв с собой самое необходимое, не более двадцати килограммов на человека, собраться перед конторой для погрузки на автомобили. На сборы дается сорок ми-

нут. Опоздавшие будут доставлены принудительно. К уклоняющимся будут применены все меры воздействия вплоть до оружия. Внимание!..

Медленным ходом машина прошла из конца в конец деревни и обратно, многократно вылаивая приказ.

\*

Затем часть машин, освещавших операцию, перегруппировалась, небольшая колонна вошла в деревню и выстроилась напротив конторы, остальные машины продолжали светить. Вместе с колонной въехала новенькая «эмка» и, поблескивая лаком, стала чуть в стороне. Задняя дверь открылась, из нее медленно вылез человек небольшого роста в белых бурках, прошитых кожаными полосками, в шинели с меховым воротником, в высокой папахе, в очках, в белых перчатках. Он выбрался на ступеньку, спустил одну ногу на землю и так и остался стоять — одна нога на земле, другая на ступеньке, а правая рука застыла на полуоткрытой дверце. Так этот человек и стоял, не двигаясь ни туда, ни сюда, словно в остановленном кинокадре.

Он стоял в стороне и со стороны наблюдал то, что происходило перед его глазами, как бы не имея к этому прямого отношения. Но именно он и был главным организатором и руководителем этой удивительной по своему замыслу и масштабу операции. Он стоял один, никто из группы стоявших неподалеку более мелких командиров не решался к нему приблизиться, но стоило ему двинуть хоть одним членом, как любой из них или все вместе кинулись бы со всех ног выполнять любое его приказание.

\*

Это был Лужин.

Он стоял, он слышал крики, ругань, плач и вопли отчаяния, но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не задевало струн его души, не возбуждало в нем сострадания, его заботило только, чтобы погрузка живого товара была произведена в срок и, по возможности, без излишнего шума.

Нюра видела все, как во сне. Вдруг появился перед ней подталкиваемый вертухаями Гладышев с Герасимом на руках. Нюра больше не удивлялась. Видимо, наступил страшный суд, и мертвые поднялись.

Потом уже выяснилось, что свое самоубийство Гладышев симулировал. Что на самом деле все это время он скрывался в подвале. Только по ночам он выбирался и спал с женой. И вот, тепленького, его выгребли вместе со всеми.

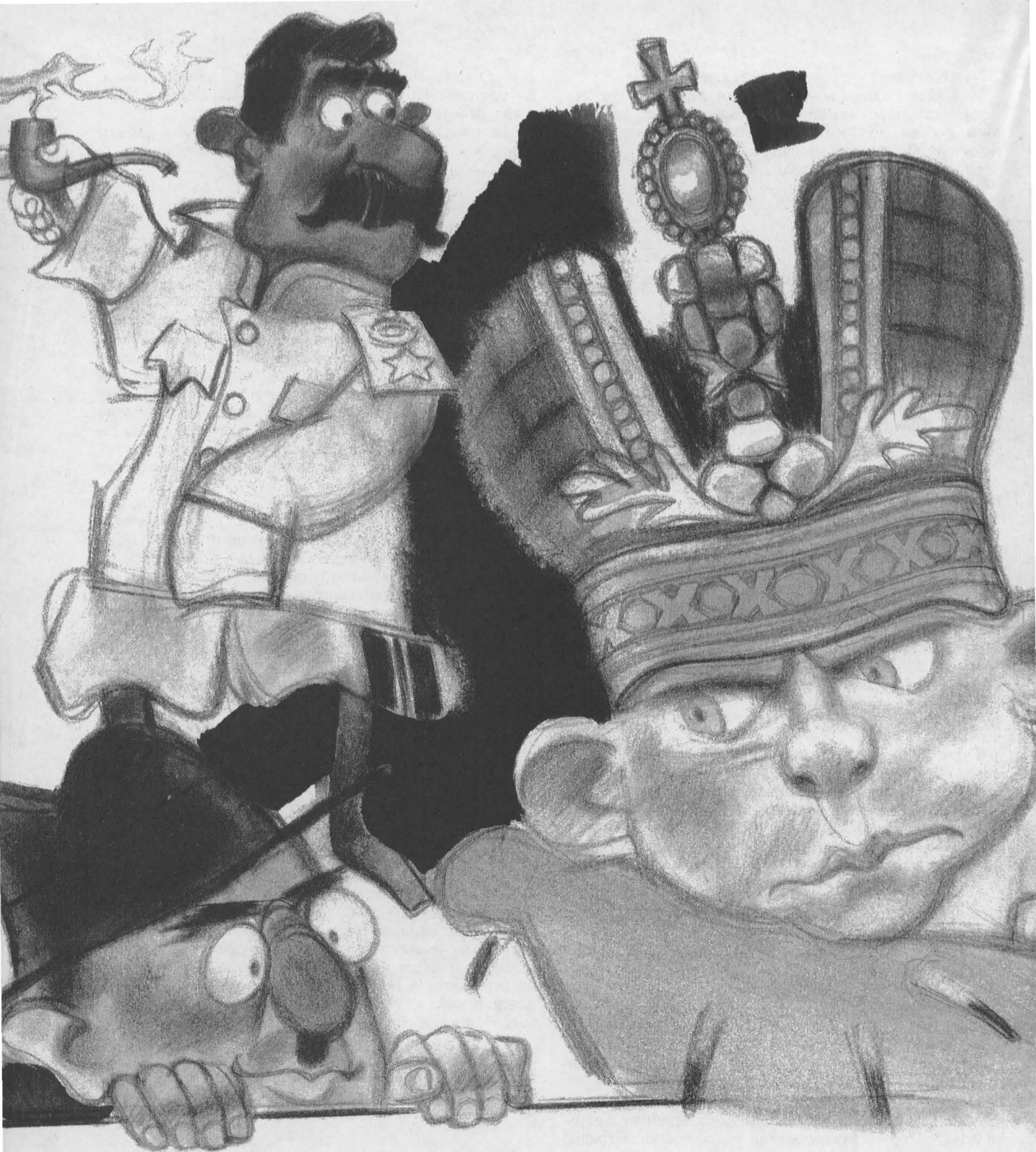
Как только колонна перестроилась, все фары тут же погасли. Машины, освещавшие операцию, подстраивались в полной темноте.

\*

В начале октября 1941 года адмирал Канарис получил от своего личного агента следующее донесение:

«В Долгове органами НКВД раскрыт крупный заговор, возглавлявшийся неким Иваном Голицыным, представителем одной из самых аристократических фамилий старой России. Как я уже сообщал, за некоторое время до этого на территории района действовала так называемая банда Чонкина. Авторитетные источники полагают, что Чонкин и Голицын — одно и то же лицо.

Местные власти и органы пропаганды пытаются приуменьшить масштабы заговора, но, судя по проводимым мероприятиям, сами относятся к происшедшему с наивысшей серьезностью.



Приняты решительные меры по усмирению мятежного населения. Так, например, жители деревни Красное, где располагался штаб Голицына-Чонкина, депортированы в Долгов и размещены в местной школе-семилетке, огороженной колючей проволокой и превращенной во временную тюрьму (в дополнение к уже имеющейся постоянной).

Насколько мне удалось выяснить, князь Голицын является представителем белоэмигрантских кругов и находящейся в изгнании царской фамилии, действовавших по заданию Германского Верховного командования.

Судя по сообщениям газет, информации, почерпнутой из инструкций, рассылаемых партийным агитаторам, и других источников, основной целью заговора являлось широкое восстание местного населения против Советов (используя главным образом недовольство колхозной системой), захват данной территории и удержание ее до подхода германских войск.

Заговорщики были близки к цели, когда их постигла трагическая неудача. Однако, как мне кажется, еще не все потеряно. Более того, я считаю, что в районе сложилась весьма благоприятная обстановка для нанесения по нему решительного удара наших войск».



\*

Павел Трофимович Евпраксеин пообедал и принял свои сто пятьдесят, чтобы привести себя в норму. Ему поручили быть государственным обвинителем (военный прокурор, который должен был исполнять эту роль, заболел), он не хотел, но подчинился, — что поделаешь? — в кармане партбилет, а дома семья.

Правда, накануне, выпив побольше, он дома бузил и даже набросал какой-то проект: «Обвинения, предъявленные подсудимому, материалами дела не подтверждаются. Как прокурор, я вношу протест, а как коммунист, выхожу из...» Плакал, бил себя в грудь: «Сволочью больше не буду...» Утром, однако, встал в другом настроении, написанное вечером сжег, почистил костюм и отправился выполнять свой долг.

Во время утреннего заседания, перечитывая свою речь, думал: «Что же, если не я, так другой. Ему все равно крышка, так неужели ж и мне вместе с ним?»

Чонкин раздражал его своим видом и нахальным своим поведением, особенно когда пытался использовать свое право на вопросы свидетелю для своих личных целей, но все же после роковой фразы: «Сло-

во предоставляется государственному обвинителю», когда прокурор поднялся и, затягивая время, стал раскладывать перед собою бумажки, он почувствовал, что у него дрожат руки, дрожат колени и во рту появился неприятный привкус, как это в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он делал что-то, чему его совесть противилась: «нельзя», а начальство толкало: «надо». И теперь та часть его мозга, которой управлял страх перед начальством, посылала его организму одни приказы, а другая часть, руководимая совестью, посылала приказы другие, и то ли клетки, то ли нуклеиновые кислоты, то ли чего-то там еще, не зная, чему подчиняться, сшибались друг с другом, вызывая ненормальное биение сердца, дрожание членов и отвратительный привкус во рту.

— Товарищи судьи! — не подымая глаз произнес он, и, услышав звучание собственного голоса, стал приходить в себя. — Роль прокурора в данном процессе чрезвычайно сложна и ответственна. Перед нами не обычный преступник. Перед нами человек, посягнувший, — прокурор сглотнул слюну, — на самое, — произнес он медленно, как под гипнозом, — дорогое для каждого из нас, на наш строй, на нашу Родину, на нашу новую жизнь.



Теперь ему стало легче. Та часть, которой управлял страх перед начальством, брала верх, а другая часть смутилась и отменила свои приказы.

— И хотя следственные органы провели кропотливую работу по анализу всех деяний подсудимого, глубоко обнажили корни, питавшие ядовитыми соками злое дерево его преступлений...

— Хорошо говорит, а? — подбежал за кулисами Лужин к приезшему генералу.

— Неплохо, — наклонил голову генерал.

Чонкин вздохнул и пытался послушать прокурора, но, изнуренный ночными и дневными допросами, не мог сосредоточиться на достижениях, перечисляемых прокурором: коллективизация, индустриализация, Днепротэс, Папанин и Полина Осипенко...

— ...Но как учит нас великий вождь товарищ Сталин, с установлением диктатуры пролетариата классовая борьба не только не утихает, она по мере нашего продвижения вперед еще более обостряется. Разбитые и выброшенные за борт корабля истории эксплуататорские классы никогда не смирятся со своим поражением. Они, — прокурор прямо указал пальцем на Чонкина, — предпринимали и будут предпринимать все более изощренные попытки реставрации своего отжившего строя.

Кажется, прокурор полностью овладел и собой, и аудиторией.

— Ярким примером гениального предвидения товарища Сталина может служить событие, происшедшее в деревне Красное за несколько дней до начала войны. Я позволю себе напомнить, что именно произошло...

Тут Чонкина совсем сморило, и он опять очутился в Красном, молодой, глупый и полный сил. Он бежал за девками, которые ехали на телеге, они ему что-то кричали, и он им что-то кричал, а потом приблизился к Нюре, говорил ей слова, и она ему слова говорила, но какой-то железный голос мешал, громко говоря чертовщину:

— ...снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем вступил в незаконные отношения с Беляшовой...

Он знал, что Нюра в любой момент может исчезнуть, и спешил тут же вступить с нею в незаконные отношения, она тоже была не против, она играла с ним, щекоталась, ему стало радостно, и он засмеялся.

И снова ворвался в уши все тот же железный голос:

— Он не только тогда глумился над марксистской теорией происхождения человека, но и сейчас смеется над нашим советским правосудием.

— Какая наглость! — сказал кто-то еще, и Чонкин приснул.

Он не сразу вспомнил, где находится, что это за люди и кто этот страшный, который тычет в него своим длинным пальцем.

— Органами следствия установлено, что под личиной рядового Чонкина скрывался матерый враг нашего строя, представитель высшей дворянской аристократии князь Голицын. Кто же такие Голицыны? Основатель этого рода был когда-то князем Новгородским и Ладожским. От него пошли многочисленные крепостники, реакционеры. Один из предков подсудимого еще в 1607 году возглавил подавление народного восстания под руководством Болотникова. Другой трижды претендовал на российский престол и был единственным серьезным соперником основателя династии Романовых царя Михаила. На протяжении трехсот лет князья Голицыны занимали наиболее значительные места при царском дворе. И вот я задаю вопрос: случайно ли представитель именно этой фамилии оказался в деревне Красное накануне вой-

ны? И я отвечаю: нет, не случайно. Марксистская диалектика учит нас, что случайностей в природе вообще не бывает. Все происходящее в мире явления связаны друг с другом, вытекают друг из друга и обуславливают друг друга.

Завороженный собственным красноречием, прокурор, чем дальше, тем больше верил своим словам и уже не невинную жертву видел перед собой, а злоеущую фигуру, в руках которой незримые нити всемирного заговора.

— Разбитые наголову белобандиты всех мастей от Керенского до Деникина не успокоились, не утратили своих надежд на возвращение поместий, заводов и фабрик. Поддерживаемые международной буржуазией, гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, вынашивая планы реставрации царского строя, рассчитывая на поддержку скрытых врагов народа, ушедших в подполье троцкистов и кулацких недобитков, используя недовольство всяких ревкинских, голубевых и иже с ними, используя недовольство еще имеющимися у нас кое-где отдельными недостатками и трудностями, они послали подсудимого своим эмиссаром. Будучи представителем высшей ступени дворянской иерархии, он, как никто другой, был заинтересован в восстановлении царского строя и, может быть, даже сам... — Прокурор задохнулся от заранее непродуманной мысли, от внезапной догадки, которой он сам испугался, но не смог удержаться... — и может быть даже сам... он сам хотел стать царем! — быстро прокричал прокурор, затряс кулаками и головой и сел, оглушенный собственным открытием.

В зале прошел гул, как будто морская волна налетела и разбилась о скалы.

Стоявшие за сценой невольно подались к кулисам.

Тем временем приезжий генерал кинулся куда надо и передал «наверх» шифровку: «В ходе судебного разбирательства прокурор Евпраксеин неопровержимо установил, что подсудимый Голицын намеревался провозгласить себя императором Иваном VII».

Со скоростью света шифровка достигла Москвы и вызвала там новый переполох.

Сбиваясь с ног, забежали по коридорам полковники и генералы. Товарища Лаврентия на службе не оказалось, нашли его совсем в другом районе Москвы в постели какой-то артистки.

Прокурор еще не закончил своей речи, как из Москвы получилась ответная шифровка: «Прокурору Евпраксеину выражаю личную благодарность. Лаврентий Берия».

— Подсудимый и его зарубежные хозяева в своих грязных расчетах не учли того, что народ наш предан своему строю, своей партии и лично товарищу Сталину. Нам не нужны ни цари, ни императоры, ни бесноватые фюреры. Действия подсудимого не нашли поддержки в широких народных массах. Наши доблестные чекисты, верные заветам Дзержинского, вовремя пресекли злоеущую деятельность «божьего помазанника», а жалкая кучка его приспешников не решилась открыто встать на его сторону. Будучи полностью изобличен, он оказал яростное сопротивление сначала посланному для его ареста спецотряду, а затем и регулярным подразделениям Красной Армии. Сопrotивляясь с яростью обреченного, он лелеял безумную в его положении надежду — во что бы то ни стало отстоять захваченный им плацдарм, любой ценой продержаться до прихода гитлеровских войск.

— Не вышло, господа! — закричал прокурор, обращаясь к судьям. — И никогда не выйдет.

...Чонкин шел по дну оврага вдоль ручья, журчавшего меж камней. Сквозь журчание слышались ему какие-то слова:

— ...совокупности совершенного, учитывая принцип сложения и повышения при особо отягчающих



условиях военного времени...

Он наклонился к ручью напиться и увидел в нем чье-то лицо. Он думал, что это его отражение, но, взглядевшись, увидел вместо себя прокурора.

— ...к высшей мере пролетарского гуманизма — расстрелу всего имущества нет места на нашей земле...

За кулисами к Павлу Трофимовичу подошел майор Фигурин, пожал руку молча.

Подошел полковник Лужин, улыбнулся:

— Слушал вас с чудовищным интересом.

Приблизился приезжий генерал, руки не подал, не улыбнулся, но проскрипел:

— По поручению товарища Берия передаю вам личную его благодарность.

Подходили еще какие-то люди, жали руки, говорили слова. Один только судья полковник Добренский, на время покинув судейское кресло, хотел выразить прокурору недовольство его отсебятиной, но, услышав, что отсебятина понравилась самому Лаврентию Павловичу, тут же переменил мнение и тоже поздравил самым энергичным образом. Прокурор принимал поздравления, но был хмур и отвечал односложно, прикуривая от одной папиросы другую, и вполуха слушал выступавшего вслед за ним защитника.

— Товарищи судьи! — взволнованно начал тот. — Долг адвоката состоит в том, чтобы защищать своего клиента. По роду своей профессии мне приходилось защищать воров, грабителей, насильников и убийц. И каким бы тяжким ни было преступление моего подзащитного, всякий раз я находил в его действиях те или иные смягчающие вину обстоятельства. Но, товарищи судьи, советский адвокат прежде всего советский человек. И как советского человека, как коммуниста меня глубоко возмущают действия моего нынешнего подзащитного. Да, я защитник, — повысил он голос, — но когда я вижу такого ужасного преступника, я невольно хочу защищать не его, а от него наш народ, нашу страну, нашу власть. И именно с целью защиты всех наших завоеваний я считаю, что нет такой казни, которая могла бы хоть в какой-то степени соответствовать чудовищным злодеяниям подсудимого.

\*

Адвокат сел. Задвигали стульями заседатели, заерзали на своих местах зрители, прокурор отхлебнул воды, полковник Добренский, отворотясь, трубно высморкался и, складывая платок вчетверо, объявил:

— Суд приступает к слушанию последнего слова подсудимого. Подсудимый, встаньте. Что вы хотите сказать суду?

Чонкин молчал. Что мог он сказать в свою защиту? Что он молод, что он жизни не видел, что не наслаждался еще ни едой, ни водой, ни свободой, ни трепетным женским телом. У него не было того понимания, что он есть неповторимое чудо природы, что с его смертью умрет и весь мир, который в нем помещался. Обладая конкретным и не тщеславным воображением, он определенно знал, что с его исчезновением вокруг ничего не изменится. Так же будет всходить и заходить солнце, день будет сменяться ночью, а зима летом, будут идти дожди, будут расти трава, будут мычать коровы, блеять козы, и какие-то люди будут управлять лошадьми, спать со своими бабами, охранять объекты и вообще делать все то, к чему их приставят. Ему было бы легче, если бы хоть раз за все это время он встретил Нюру, и она бы ему сказала, и он бы узнал, что семья его, прилепившись где-то внутри ее организма, пустило ростки, и что-то

вроде головастика вступило в период своего потайного развития, чтобы в конце концов превратиться пусть в кривоногого, пусть в лопухое, но похожее на Чонкина человеческое существо.

— Подсудимый, — напомнил о себе председатель, — вы что-нибудь скажете или нет?

— Прошу простить, — сказал Чонкин, еле двигая языком.

— Ишь чего захотел — простить, — выкрикнул некий лжечеловечек из зала.

Но другой, почти такой же и все-таки чуть получше, дал тому локтем под дых и громко сказал:

— Заглохни, псина!

Эти два неожиданных выкрика как бы нарушили торжественность момента. Все повернули головы туда, откуда эти выкрики слышались. Тот, кто крикнул вторым, сидел бледный, сожалея о том, что невольно проявил в себе человека.

— Суд удаляется на совещание для вынесения приговора, — объявил Добренский, поднимаясь.

\*

Донесение Курта было получено адмиралом Канарисом во вторник. Вечером того же дня на очередном совещании у фюрера, посвященном обсуждению деталей операции «Тайфун» (операция по захвату Москвы), Канарис в числе прочих данных своей разведки доложил о донесениях из Долгова. Гитлера донесение неожиданно заинтересовало.

— Кто он, этот русский? — переспросил Гитлер.

— Князя Голицыны — одна из стариннейших дворянских ветвей, — объяснил Канарис.

— Это я понял, — перебил Гитлер. — Я вас спрашиваю, это ваш человек?

Канарису показалось, что Гитлер чем-то недоволен, и он быстро ответил, что в его агентуре таких не значится.

— Жаль, — сказал Гитлер. Он вскочил и забежал по кабинету. — И все-таки, господа, это прекрасный симптом. До сих пор, кажется, ничего подобного не было.

Да, не было. Хотя он и рассчитывал на мощь своих вооруженных сил, но он не думал, что сопротивление русского народа будет столь упорным. Он был уверен, что русские только о том и мечтают, что сбросить с себя ярмо коммунистического рабства. Он думал, что они будут выходить навстречу его войскам с хлебом-солью. Как всякий диктатор, Гитлер был не только жесток, он был сентиментален. Планируя уничтожение народов, он в глубине души хотел, чтобы эти же народы, евреи, цыгане, поляки, русские любили его как своего освободителя.

Его поражало, почему русские не восстают против большевиков, почему не идут навстречу его войскам.

— Господа! — Остановившись посреди комнаты, он высоко поднял руку, давая понять, что принимает историческое решение. — Я думаю, мы должны помочь этому русскому. Мы не имеем права оставлять его одного в беде. И мы ему, — он вытянул горизонтально указательный палец, — поможем.

— Но, мой фюрер, я повторяю, — сказал Канарис, — я не знаю, кто он. В моей агентуре такого человека нет.

— Мой фюрер, — вмешался молчавший до этого Гиммлер, — в России, помимо агентуры адмирала Канариса, существуют и другие службы.

— Ты хочешь сказать, что этот... как его... Голицын твой человек?

— Я должен это проверить, мой фюрер. — Гиммлер многозначительно улыбнулся.

Гиммлер, конечно, не думал, что мифический князь

состоит у него на службе, но, видя, что фюрер затевает какое-то новое дело, решил тут же к нему примазаться. Это понял и Канарис; понял и Гитлер, но, увлеченный новой идеей, он рад был косвенной поддержке Гиммлера.

— Это замечательно! — говорил Гитлер, ходя по комнате и размахивая руками. — Это изумительно. Это превосходно! Гудериан! — закричал он. — Где сейчас находятся наши танки?

Генерал-полковник Гудериан встал, одернул мундир, посмотрел на часы, как бы выжидая наступления именно того самого момента, о котором начал говорить:

— В данный момент, мой фюрер, мои танки в районе Каширы, прорвав оборонительный заслон русских, вышли на прямую дорогу к Москве.

— Вы их повернете к Долгову!

— Как? — вырвалось у Гудериана.

Вскинул голову Браухич, задергал шеей генерал-полковник Гальдер. Один только Кейтель сидел по-прежнему невозмутимо. Даже Гиммлер посмотрел на фюрера с опаской, но тут же опустил глаза.

— Но, мой фюрер... — У Гудериана в глазах стояли слезы. — До Москвы осталось всего восемьдесят километров. Мои танки ворвутся в нее с ходу.

— Ваши танки ворвутся в нее с ходу, но сначала пусть они возьмут Долгов, пусть освободят этого несчастного князя. Право, оставить его в беде было бы неблагоприятно. Я бы себе этого никогда не простил.

Тут поднялся ужасный переполох. Все генералы вскочили на ноги, и все, перебивая и отталкивая друг друга, кричали:

— Мой фюрер! Мой фюрер! Мой фюрер!

— Молчать! — Фюрер хлопнул ладонью по столу и затряс ею от боли. — Всем замолчать! Говорите по одному. Что? Чем вы недовольны?

— Мой фюрер, — выступил вперед фельдмаршал фон Бок, — в данных условиях, когда наши войска находятся на подступах к Москве...

— Я вас понял, фон Бок, и объясняю: взять Москву мы успеем всегда.

— Но я полагаю, — приблизился фон Браухич.

— Все! — раздраженно сказал Гитлер и снова хлопнул рукой по столу. — Полагать вы могли до того, как я принял решение. Теперь вы обязаны только лишь исполнять. Что стоите? Вы свободны.

Генералы и маршалы, как школьники на перемену, толпясь и чуть ли не сбивая друг друга с ног, ринулись в открытые двери.

В кабинете остались только Гитлер и Гиммлер. Гитлер продолжал бегать по комнате, размахивать руками и выкрикивать:

— Ничтожество! Мелкие твари! Козявки! «Я полагаю...» Кто вы такие, чтоб полагать! Навешали на себя ордена и погоны и думаете, что вы действительно стратеги и полководцы. Да я с вас в один миг все это посдираю, и вы будете у меня голенькие! Ничтожные глупые старики с обвисшими животами!

Гиммлер сидел в мягком кресле и с легкой улыбкой наблюдал за истерикой своего вождя.

— Но, мой фюрер, — сказал он с легкой улыбкой. — Не стоит на них так сердиться. Дюжина средних умов никогда не сможет постичь одной мысли гения.

— Лстишь? — повернувшись к нему, быстро спросил Гитлер.

— Лщу, мой фюрер, — сказал Гиммлер, и оба весело рассмеялись.

Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте, никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди

осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек, во всех направлениях, лишь бы из города, ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало. Магазины, банки, сберкассы были открыты: заходи, бери, если чего найдешь. Возле помоек лежали груды сочинений Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина и других подобных авторов. Брошенные хозяевами голодные собаки, бродя меж фоллиантами, внохивались в них и воротили морды, тоскливо повизгивая.

На улице не видно было ни военных патрулей, ни милиции, райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было.

Говорят, что в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками.

Почему же они этого не сделали?

В обширной литературе существует на этот счет немало противоречивых, а порой и весьма оригинальных суждений. Одни говорят насчет погодных условий, другие противопоставляют морально-политический фактор и массовый героизм, что, конечно, было. Нередко приходится слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения, я имею в виду того, который сидел в метро. Мы, мол, победили потому, что он был с нами.

Признаться, с горькой усмешкой следил автор долгие годы за перепалкой историков. Сколько всего наговорено, сколько лесов порублено на бумагу, сколько щепок зазря пролетело, а ведь истина вот она, под рукой.

Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал: и трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. Но с нами он не был. Он в метро сидел, оставив нас на поверхности.

Однако если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик, лопоух и кривоног немного? Ведь если разобраться по совести и без горячки, так и тот, который сидел в метро, был тоже ничем не лучше. Ростом полтора метра с фуражкой, морду имел побитую оспой, руку сухую, лобик шириной в два пальца, а зубы кривые и желтые. А вот же, несмотря на эти вопиющие недостатки, вошел в историю и выведен в бесчисленных сочинениях, авторы которых изображают его либо не иначе как горным орлом, либо не иначе как совершенной свиньей. (Стремясь к наибольшей объективности, я лично думаю, что он был не орел и не свинья, а что-то среднее.)

Завершая настоящий пассаж, мы выражаем надежду, что теперь, когда в запутанный историками вводнесен полная ясность, многолетняя полемика представителей различных школ и направлений, потерявший всякий видимый смысл, прекратится сама собою.

Выполнив возложенную на него свыше миссию, автор скромно отходит в сторону.

\*

Генерал Дрынов получил повышение неожиданно. Когда ударная армия с входившей в нее дивизией Дрынова, потеряв половину своего состава, вышла из окружения, ее командующий был арестован за то, что не удержал Каширу. На его место назначен был Дрынов. Остатками потрепанной армии он должен



был удерживать подступы к Москве. Положение было незавидным. Равнинная местность, лишенная всякой растительности, не считая травы. По приказу нового командующего бойцы окопались и ждали появления немцев. Утром появились немецкие танки. В армии Дрынова было четыре противотанковых ружья, из них одно неисправное, другое без боеприпасов и одна пушка сорокапятка (та самая) без снарядов. Сопротивление было бесполезно. Но Дрынов получил приказ «ни шагу назад» и намерен был его выполнить. Танки шли развернутым строем. Одно противотанковое ружье твякнуло и замолкло, в него угодила немецкий снаряд. Из другого удалось подбить один танк, и он загорелся, но тут и для этого последнего ружья кончились боеприпасы. И тогда Дрынов решился на отчаянный шаг. Он поднялся во весь рост и с криком:

— За родину! За Сталина! Ура! — размахивая пистолетом, побежал навстречу танкам.

Увлеченные его порывом, поднялись и бойцы. Расстояние между ними и танками стремительно сокращалось.

И вдруг — чего только в жизни не бывает — танки остановились. Эти громадные и некрасивые железные чудовища стояли и словно в нерешительности поводили дулами своих пушек туда-сюда.

Бойцы тоже остановились. От растерянности никому не пришло даже в голову залечь.

И вдруг, видимо, получив команду по радио, все танки одновременно повернули на сто восемьдесят градусов и кинулись наутек.

Все опешили.

— Батюшки, что ж это такое? — удивился неподалеку от Дрынова пожилой красноармеец и перекрестился, не веря своим глазам.

— Ага, гады, струсил! — закричал Дрынов и побежал с пистолетом вдогонку.

Кажется, он даже выстрелил раз или два, но, так или иначе, танки ушли.

Корреспондент «Правды» Александр Кривоватый, узнав об этом от очевидцев (сам он видеть этого не мог, ибо старался описывать подвиги, глядя на них издали), по телефону передал срочное сообщение в газету.

Утром, просматривая газеты, на эту заметку наткнулся Сталин.

— Что за несусветная чушь! — сказал он и приказал Маленкову позвонить в редакцию и от его имени передать корреспонденту Кривоватому, чтобы врал, да знал меру. Маленков вернулся удивленный и сказал: Кривоватый клянется, что на этот раз ничего не приукрасил, все так и было. Маленков звонил в штаб фронта, но и там ему подтвердили, что все так и было: остановленная армией Дрынова, танковая группа Гудериана отступила, и контакт с ней утерян.

И вот тогда Сталин приказал: генерал-майора Дрынова произвести в генерал-лейтенанты, представить к званию Героя Советского Союза и доставить на «подземную дачу» для личной беседы.

И то, и другое, и третье, разумеется, было выполнено немедленно.

\*

На «дачу» Дрынов прибыл не один, а в составе группы генералов, каждый из которых чем-нибудь отличился.

Полководцев привезли в закрытом вагоне, под конвоем ввели в небольшую комнату, попросили снять шинели и построиться по ранжиру. Как только они это сделали, свет погас и тут же зажегся. И ослепленные генералы увидели перед собой невзрачного чело-

вечка в засаленном мундире без знаков различия. Человечек сосал погасшую трубку и, шевеля выплывшими усами, волочил по лицам собравшихся цепкий настороженный взгляд. Генералы сперва удивились: что еще за явление, потом обмерли, и Дрынов, первым оценив обстановку, рывкнул как на параде:

— Великому полководцу, товарищу Сталину, ура!

— Ура! Ура! Ура! — троекратно грянули генералы.

Сталину такой прием, видимо, понравился, тем более что он не был отрететирован, а вождь любил искренние проявления любви. Он улыбнулся отдельно Дрынову и затем всем остальным и, сдавив трубку в желтых зубах, шутиливо заткнул пальцами уши, показывая, что так можно оглохнуть, а затем стал хлопать в ладоши. Генералы, естественно, тоже. Дрынов в восторге от того, что Сталин улыбнулся ему отдельно, аплодировал с остервенением, как мальчик на стадионе. Сталин заметил это и опять улыбнулся ему отдельно. Хлопали долго. Затем хозяин дачи прекратил это дело, дав понять, что прозвучавшие аплодисменты он считает достаточным выражением любви к нему лично и в его лице к партии, правительству, народу, к родине, к необъятным ее просторам и к отдельным березкам. Прекратив аплодисменты, товарищ Сталин пошел перед строем и стал совать каждому свою сморщенную ладошку для пожатия.

— Так вот вы какой! — сказал он, дойдя до Дрынова.

Дрынов с перепугу несколько перестарался. Великий вождь поморщился от боли и вскинул на Дрынова подозрительный взгляд. Но моментально понял, что генерал сделал это не из террористических побуждений, а от полноты чувств, усмехнулся в усы и сказал с заметным акцентом:

— Значит, есть еще в наших мускулах сила, товарищ Дрынов?

— Так точно, товарищ Сталин! — отрубил Дрынов.

— Так точно? — быстро переспросил Сталин с некоторым удивлением. — Вы что же, товарищ Дрынов, поклонник уставных выражений, принятых в царской армии?

— Никак нет! — гаркнул Дрынов и, осекшись, покраснел, а затем побледнел, чувствуя конец своей военной карьеры.

Сталин молчал. Он молчал и с любопытством смотрел на Дрынова, наблюдал, как меняется тот в лице.

— Почему же никак нет, — сказал вдруг Сталин и опять улыбнулся. — Нам не следует отказываться от того хорошего, что было в царской армии. Пожалуй, нам следовало бы вернуть некоторые хорошие традиции, принятые в старой армии. Вы со мной согласны?

— Так точно! — отрапортовал Дрынов уже без всякой опаски.

Своим поведением и внешним видом Дрынов так понравился Сталину, что тот попросил его задержаться после общего приема и провел с ним отдельную беседу. Поговорили об общем положении на фронтах и о положении на том участке, который контролировался дрыновской армией. Дрынов на все вопросы отвечал по-военному четко и кратко. Сталин поинтересовался его биографией, и Дрынов сказал, что он из простой крестьянской семьи.

Сталину это еще больше понравилось.

— Значит, вы потомственный крестьянин? — спросил Сталин.

— Так точно, потомственный, — отвечал Дрынов.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что дед Дрынова был из крепостных князя Голицына.

— Вот оно что! — удивился Сталин. — Между прочим, мы недавно одного из бывших ваших господ разоблачили. — Он вспомнил о деле князя Голицына,

и ему стало неприятно.— А скажите, товарищ Дрынов, вы хотели бы снова стать крепостным князя Голицына?

— Что вы, товарищ Сталин! — отказался генерал и тут же смутился, подумав, что, может быть, и в этом смысле великий учитель хочет вернуться к прежним традициям (в таком случае Дрынов, конечно, хотел бы стать крепостным князя Голицына). Но у Сталина была другая мысль, и он опять был доволен ответом Дрынова.

— Правильно, товарищ Дрынов,— сказал Сталин.— А вот некоторые князья думают, что русский народ только о том и мечтает, чтобы снова попасть к ним в рабство. Я полагаю, что с политической точки зрения нам надо поднимать простого человека, преданного нашему строю и нашей партии, потому что только мы открыли ему настоящий путь вперед. И среди простых людей, я думаю, есть немало истинных героев, которые жизни своей не пожалеют для укрепления нашего народного строя. Не так ли, товарищ Дрынов?

Дрынов охотно согласился. Тогда Сталин попросил его назвать какого-нибудь простого бойца, желательно из крестьян, который проявил бы пример беззаветного служения родине и истинного героизма.

— Знаю я одного такого, товарищ Сталин,— сказал Дрынов.

Надо сказать, что Чонкин своей храбростью очень понравился Дрынову. Дрынову было как-то неловко, что он не проявил должной твердости и отдал бойца Тем Кому Надо. Он захотел рассказать о Чонкине Сталину, но сомневался.

— Так кого же вы знаете? — спросил Сталин.— Я вижу, вас что-то смущает?

— Так точно, смущает, товарищ Сталин.

— Что же именно вас смущает?

А, была не была, Дрынов решился.

— Тут вот какое дело, товарищ Сталин, боец есть один, Чонкин Иван...

— Чонкин Иван? — переспросил Сталин.— Очень хорошо. Простое русское имя. Так что же сделал этот Чонкин Иван?

И Дрынов рассказал все как было. Чонкин Иван стоял на посту, часть, в которой он служил, была отправлена на фронт, о нем в суматохе забыли. Ему многие говорили, что он может покинуть пост, но он не мог и не хотел нарушать устав. И стоял бессменно много дней подряд. Кончился запас продовольствия, он стоял. Кончилась махорка, он стоял. Прохудились ботинки, он стоял. Однажды на его пост напал вооруженный отряд, состоявший из семи человек, и Чонкин всех их взял в плен.

— Один взял в плен семерых вооруженных? — поразился Сталин.

— Подождите, товарищ Сталин,— довольно дерзко сказал Дрынов.— Послушайте, что было дальше. На помощь этому отряду был брошен полк. Чонкину было предложено сдаться, но он отказался, принял бой и сражался до последнего патрона.

— До последнего патрона,— задумчиво повторил Сталин и смахнул ладонью набежавшую слезу.— Он, конечно, погиб?

— Нет, товарищ Сталин, он был только контужен.

— И взят в плен? — Сталин нахмурился.

— Никак нет, товарищ Сталин. Дело в том, что этот полк был не немецкий.

— А чей же? — удивился Сталин.

— Мой,— сказал Дрынов, решившись на все.

— Как — ваш?

Дрынов рассказал подробности. Сталину эта история ужасно понравилась, он смеялся и хлопал себя по ляжкам. Особенно смешно ему показалось, что разведчики захватили языка, который впоследствии

оказался нашим капитаном (о том, что капитан был расстрелян и почему он был расстрелян, Дрынов из своего рассказа выпустил). Насмеявшись до слез, Сталин пришел в такое хорошее расположение духа, что даже предложил Дрынову поужинать с ним вдвоем.

— Чонкин,— повторял он на все лады полюбившуюся фамилию.— Солдат Чонкин. Между прочим, звучит гораздо лучше, чем боец или красноармеец. Товарищ Дрынов, а как вам кажется, от чего произошла эта фамилия? Может быть, от слова ЧОН?

— Не могу знать! — отвечал Дрынов, не зная, в какой руке держать нож, в какой вилку, и боясь ошибиться.

— Да вы ешьте, как вам удобней,— сказал Сталин и налил гостю стакан водки из запотевшего графина.— Нет, я не думаю, что это от слова «ЧОН», я думаю, что фамилия более древнего происхождения. Давайте, товарищ Дрынов, выпьем за простого русского солдата Чонкина.

\*

Подмяв под себя шинель, Чонкин в ожидании исполнения приговора скрючился на нарах и предавался своим невеселым думам. Могло ли ему прийти в голову, что в эту минуту сам Сталин стоя пьет за его здоровье?

Отпустив Дрынова, Сталин занялся текущими своими делами: поочередно принял четырех наркомов, двух директоров заводов, говорил по телефону с командующими фронтами, обсуждал конструкцию нового самолета, давал указания по эвакуации крупного машиностроительного завода, вникал в детали плана создания партизанских соединений, подписал списки наград и расстрелов, продиктовал телеграмму Черчиллю и только в пятом часу, выпив стакан кефира, лег спать. И, отходя ко сну, вспомнил он рассказ генерала Дрынова и снова стал думать о Чонкине, растроганно, с теплотой и любовью.

— Чонкин! Чонкин! — засыпая, бормотал он и вкусно чмокал губами.

Потом ему Чонкин виделся во сне. Он снился ему огромного роста богатырем с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Размахивая палицей, Чонкин громил всех его врагов, и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках, похожий на мелкую злобную собачонку с карикатуры Кукрыниксов.

В тот же вечер, когда Сталин принимал Дрынова, Гитлер получил телефонограмму, что танковая группа Гудериана, форсировав речку Тему, приступила к операции «Брудершафт».

В хорошем расположении духа Гитлер лег спать. Ему снился князь Голицын, огромного роста богатырь с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Он ехал на белом коне под белым знаменем, надетым на пику с длинным древком. За князем двигалось несметное воинство длиннорылых крестьян в лаптях и в армяках, подпоясанных веревками. Крестьяне поднятием правых рук выражали свое ликование и выкрикивали:

— Хайль Гитлер!

\*

Вечером после суда в райкомовской столовой отмечали окончание дела. Присутствовали местные руководители с женами и члены выездной сессии. Были приглашены и приезжий генерал, и Лужин, и Фигурин. Но они не явились, не удостоили.

Председательствовал, как и на суде, полковник Добренький, но героем вечера был, конечно, Павел Трофимович Евпраксеин. Все знали, от кого получена им личная благодарность, все его поздравляли, интере-



совались его здоровьем, справлялись о жене, о детях, а жена Борисова, Манька, сидела рядом и строила глазки, и терлась своим коленом о его колено, и за всякими закусками лезла непременно в дальний конец стола и при этом ложилась на Евпраксеина всей своей грудью, которая могла не взволновать разве что только чурбана.

Но Евпраксеина она не взволновала, хотя он чурбаном не был, а впрочем, кто его знает, эта сторона жизни его осталась совсем в тени. Во всяком случае, Манькины призывы остались в этот раз совершенно безответными, и Манька, а также и другие участники этого вечера решили, что прокурор просто ошалел от свалившегося на него счастья, а может, и того хуже — зазнался.

А дело было не в том, конечно, что он зазнался, он не зазнавался, он мрачен был с самого начала, он механически поднимался, когда пили за Сталина, за победу, за что-то еще, пил много, закусывал мало и не видел никого, кроме маленького красноухого человека, который стоял перед его, как говорится, мысленным взором и с трудом шевелил одеревеневшими губами: «Прошу простить!»

Патефон играл «На сопках Маньчжурии», полковник Добренский пивал «Ой ты, Галю, Галю молоденька», потом пели и «Хаз Булат удалой», и «Коробочку», и что-то еще, и Манька Борисова больше всех надрывалась и визжала до слез, а потом, кажется, еще и танцевали под тот же патефон, а прокурор сидел на одном месте, пил, смотрел в одну точку и не видел перед собой никого, кроме Чонкина, шевелившего губами: «Прошу простить!»

Видя, что прокурор настолько ошалел и зазнался от высочайшей благодарности, что никого знать не хочет, все в конце концов махнули на него рукой, выпустили его из виду и потом никто не мог вспомнить в точности, когда и как он ушел.

Как показывала потом жена его Азалия Митрофановна, домой прокурор явился среди ночи, ничего особенного в его виде не было. Пальто на нем было, конечно, расстегнуто и часть пуговиц где-то он потерял, и хлястик был оборван, и правый бок весь был в мелу, и правая же щека была расцарапана, но подобное с ним случалось и раньше. Но вот что правда, то правда, вел он себя несколько необычно. Не шумел, не буянил, а, напротив, старался вести себя совсем тихо, снял в передней сапоги и портянки, прошел босой к своему столу и сел что-то писать. Он всегда в пьяном виде писал какие-то письма и заявления, но обычно с криками, с битьем себя в грудь, с угрозами, что он что-то немедленно сделает, а в этот раз все молча. Один раз он поднял голову, и Аза увидела, что на щеке его дрожала слеза. Она забеспокоилась и хотела спросить, что с ним, но не спросила, боясь разбудить в нем зверя.

Он продолжал что-то писать и, как выяснилось впоследствии, это были варианты одной и той же мысли: «Процесс над Чонкиным прошу считать недействительным» (зачеркнуто). «Мою речь прошу считать недействительной» (зачеркнуто)...

Он писал, зачеркивал, комкал бумагу и швырял ее под стол, а потом устал, уронил голову на руки и в таком положении замер. Аза успокоилась и задремала, и ей казалось, что спала она совсем немного, но, когда проснулась, Павла Трофимовича в доме уже не было.

Если бы Аза сразу обнаружила и отсутствие ружья, она могла бы еще выскочить на улицу и, может быть, даже предотвратить несчастье (хотя, конечно, маловероятно), но ей, как она потом объясняла, и в голову не могло прийти, что он это делает.

В то время, когда она лежала с открытыми глазами и думала, куда бы мог деться муж, он стоял возле уборной с ружьем и ружье это было заряжено жаканом.

Было темно, подмораживало. Задувал ветер, и снежная крупа сыпалась сквозь редкие звезды. Все вокруг побелело.

«Ну, все! — говорил себе прокурор. — Теперь уже все».

Решение его было твердым. Он думал о предстоящем без страха, спокойно, ничто не могло ему помешать, и он не спешил.

Где-то он читал или слышал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь от начала до конца и особенно ярко детство. Он попытался тоже вспомнить что-то из детства, но ничего не мог вспомнить кроме того, что был он толстым и неуклюжим мальчиком и что в железнодорожном училище, где начинал он свое образование, его звали Колбаса.

Смутно вспоминались и годы юности, когда он, выросший и похудевший, ходил в кожаной куртке с наганом и ловил каких-то мешочников, и врывался в квартиры каких-то буржуев, и состоял в продотряде, и участвовал в раскулачивании и в чем-то еще подобном, и вспоминались ему какие-то люди, которых он отправлял либо в тюрьму, либо подводил под расстрел, и, как ему казалось теперь, все они были похожи на Чонкина, все шевелили одеревеневшими губами и просили простить.

Но он действовал от имени революции, которая никого не позволяла прощать, не позволяла расслабляться, требуя все новых и новых жертв во имя светлого будущего, которое вот-вот должно было буд-то бы наступить.

Он не прощал и не расслаблялся, и кем-то, но не собой, все жертвовал, и уж, кажется, совсем потерял человеческий облик, а ему говорили: мало, мало. И требовали что-то еще укрепить и что-то усилить, и он со временем стал замечать, что действует не столько из чувства долга и вовсе не из высших соображений, а из страха, что его обвинят в преступной мягкотелости, то есть в том, что был еще недостаточно жестоким, и он старался быть жестоким достаточно, и на всякий случай даже с запасом, но совесть грызла его изнутри. Он пытался залить ее водкой, не получалось. Жизнь, по существу, стала сплошной пыткой, и никакой суд не мог приговорить к худшему наказанию.

Положив подбородок на ствол ружья, прокурор думал, что-то бормотал, что-то выкрикивал, и лицо его было мокрым от слез.

— Ну ладно, — сказал он себе. — Хватит! Человеком быть не сумел, а жить гадом ползучим, червем, тараканом, нет уж, простите.

Чтобы совершить задуманное, прежде всего нужно было снять сапог, что он и попробовал сделать, но в это время в уборной послышался надрядный кашель, скрипнула дверь, какой-то человек, подсвечивая себе спичками, вышел наружу.

— Кто это? — испуганно спросил человек.

Прокурор молчал. Человек приблизился, и Павел Трофимович узнал в нем своего соседа военкома Курдюмова, он был в сапогах и в шинели, накинутой поверх исподнего.

— Трофимыч? — удивился Курдюмов. — Ты что это здесь стоишь? Гуляешь?

— Гуляю, — ответил прокурор хмуро.

— С ружьем?

— С ружьем.

— Гм! Да! — Поведение прокурора показалось Курдюмову странным. — Погоды нынче стоят необычно холодные, — пожевав губами, сказал он. — В прошлом году, помнится, я еще на Октябрьскую в гимнастерочке бегал, а теперь и в шинели зябко. А? — Военком зевнул, широко раскрыв рот.

Прокурор ничего не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и смотрел мимо Курдюмова. Холодная

слеза сорвалась с подбородка и покатилась куда-то под воротник.

— А все ж таки не понимаю, — сказал Курдюмов, — как это люди не осознают необходимости культурного поведения в местах общего пользования. В уборной большое количество необходимых отверстий, а они валят кучи перед дверями и где ни попадя, так что без спичек очень просто можно вступить в какой-нибудь экскремент. Ты бы, Трофимыч как прокурор вывесил объявление, что кто будет злостно срать мимо дырки, будет привлекаться к уголовной ответственности, а, Трофимыч? Верно ведь говорю, а?

— Иди на... сволочь! — отчетливо повторил Евпраксеин.

— А-а, — сказал Курдюмов и, втянув голову в плечи, немедленно пошел прочь. — Эй, ты! — закричал он откуда-то из мрака. — Ты бы ружье-то бросил. Нечего с ружьями по ночам!

Но прокурор его уже не слышал.

— Пора! — сказал он себе. — Хватит! Хватит! — повторил он, упиравшись левым носком в правый задник. — Насладился жизнью, погулял, спасибо и до свиданья.

С трудом стащил сапог, затем, прыгая ногой, размотал и скинул портянку. Ветер подхватил ее и понес, переворачивая.

— Ну вот, — сказал он облегченно, — а теперь уж дело совсем простое.

Опираясь на ствол ружья, он поднял правую ногу и ввел большой палец в дужку спускового крючка. Осталось только шевельнуть пальцем, да, всего лишь шевельнуть пальцем, и все будет тут же окончательно решено. И что удивительно, он не испытывал никакого страха перед настоящим, он был совершенно спокоен.

— Ну ладно, — сказал он и, закрыв подбородком ствол, попытался сделать движение пальцем, но ничего не произошло, и прокурор не сразу понял, что его собственный палец отказывается ему подчиниться.

— Ерунда какая-то, — пробормотал он и опять попытался шевельнуть пальцем, и опять палец не подчинился. Это было странно и удивительно, он решил двинуть всей ногой, но и нога, согнутая в колене, не шевельнулась.

«Да что же это такое? — подумал он почти в панике. — Неужели я такой трус и тряпка, неужели я не могу сделать то, что хочу? Ведь я готов к этому, я не боюсь этого, я совершенно спокоен».

— А! — вскрикнул он, как будто рубил дрова, и, выставив вперед плечо, сделал новое волевое усилие, чтобы двинуть ногой, но она была неподвижна. Весь его организм бунтовал и отказывался выполнять посланные мозгом приказы.

От внутреннего напряжения ему стало жарко и дыхание участилось. Он решил передохнуть, собраться с новыми силами, усыпить бдительность организма.

— Сейчас, — пообещал он себе, — сейчас все будет в порядке. Надо только взять себя в руки. Я и в самом деле ведь не боюсь, совсем не боюсь, я готов. Ничего страшного в смерти нет. Смерть не несчастье, смерть это просто ничего, пустота.

Он почувствовал, что его знобит, и течение мысли переменилось. «Но как же другие? — подумал он. — Другие же не лучше меня. Они грабят, режут, лгут, предают ближайших друзей, отрекаются от жен, детей и родителей и, ничем не терзаясь, доживают до своего срока и спокойно умирают в своих постелях. А я еще молод и полон сил, я бы мог еще что-то сделать, за что же мне, если я так страдал, смертная казнь? Я жить хочу, жить! Пусть кем угодно — негодяем, бандитом, гадом ползучим, червем, тараканом, но только жить!»

Ему стало страшно, как никогда, он почувствовал,

что весь дрожит, и поднятая нога его дергается произвольно, и палец вот-вот зацепит спусковой крючок.

— Не хочу! — хрипло прокричал он в пространство и шевельнул ногой, чтобы выдернуть палец.

В этот момент он потерял равновесие, наступил всей тяжестью на спусковой крючок и одновременно закрыл ствол ладонями, как бы пытаясь удержать смерть, рвущуюся оттуда.

Огненный шар вспыхнул в его ладонях, пронзил их насквозь и упруго ткнулся в подбородок. Что-то глухо треснуло, засиял и распространился повсюду сиреневый свет.

Павлу Трофимовичу стало так хорошо, как не бывало раньше. Он почувствовал, что становится лучшей, которая растекается, растекается, растекается и уходит в песок...

\*

Когда народ сбежался к месту происшествия, там все уже было оцеплено милицией и штатскими. Прокурор с обезображенным лицом лежал, опрокинувшись навзничь. Руки и ноги раскинуты, ружье откатилось в сторону. Одна нога в сапоге, другая без. Азалия Митрофановна стояла рядом и, кусая губы, смотрела в сторону. Два милиционера измеряли что-то длинной рулеткой, один при помощи магниевой вспышки фотографировал, главный врач райбольницы Раиса Семеновна Гурвич, положив тетрадь на капот милицейского автомобиля, при свете карманного фонаря писала свое заключение. Майор Фигурин в новенькой, перетянутой ремнями шинели стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

К Фигурину пробился толстый лейтенант милиции.

— Вот, — сказал он, подавая бумагу. — Лежало у него на столе.

Фигурин поднес бумагу к глазам и осветил фонариком.

— Пьяный бред, — сказал он, бегло ознакомившись, и положил бумагу в карман.

С тех пор никто этой бумаги не видел, и точное содержание ее осталось бы тайной, но впоследствии со слов Азалии Митрофановны стало известно, что предсмертное заявление состояло из одной фразы: «Мою жизнь прошу считать недействительной».

\*

Фигурин проснулся от какого-то шума и увидел, что Маргарита, мятая после сна, со спутанными волосами сидит на кровати и испуганно смотрит в окно.

— Ты что? — спросил он удивленно.

Где-то что-то отдаленно ухнуло, задребезжали стекла.

— Слышишь? — спросила шепотом Маргарита.

— Слышу, — сказал он потягиваясь. — И что же тебя волнует?

Снова ухнуло, и снова задребезжали стекла.

— Учебные стрельбы, — объяснил Федот Федотович.

— Ты уверен, что учебные? — спросила она с сомнением.

— Безусловно, учебные, — уверил он. — Немцы от нас еще далеко.

Он встал, сделал короткую зарядку, обтерся холодной водой, позавтракал и отправился на службу.

Пока шел, еще где-то несколько раз ухнуло. Шедшая навстречу старуха перекрестилась. «Темнота», — подумал Фигурин и пошел дальше. Ничего странного он на улице не заметил, но потом вспоминал, что



улицы были, пожалуй, необычно безлюдными. Впрочем, они и обычно также были безлюдными.

Придя на работу, он удивился, не обнаружив в приемной своей секретарши. Ящики двух столов были выдвинуты, шкаф и сейф открыты, на полу валялись бумаги, некоторые с грифом «секретно» и даже «совершенно секретно». Фигурин вбежал в кабинет и ахнул: в кабинете тоже были открыты ящики стола и сейф, и бумаги тоже разбросаны по полу, и даже с первого взгляда было видно, что многого не хватает. Только на самом столе все было, как всегда, аккуратно разложено: баночка с разноцветными карандашами, мраморная чернильница, мраморное пресс-папье, настольный календарь, телефонная книга, папка с надписью «текущие дела» и сверху на папке два листа бумаги с текстом, напечатанным на машинке. Это были секретные телефонограммы, видимо, полученные ночью. Вот текст первой из них:

*«В связи с неожиданным прорывом немцев на данном участке фронта и возможным занятием Долгова и окрестностей в соответствии с распоряжением вышестоящих инстанций приговор врагу народа Голицыну привести в исполнение немедленно. С сообщниками поступить сообразно обстоятельствам.*

*Лужин».*

Телефонограмма вторая:

*«Верховный главнокомандующий приказал: рядового Чонкина немедленно доставить в Москву для представления к правительственной награде. Исполнение данного приказа возлагаю на вас.*

*Лужин».*

И там и там было указано время приема: 6 ч. 04 м.

Фигурин шевелил губами и пытался осмыслить то, что видел. Его смутило не только противоречивое содержание поступивших приказов, а еще и то, что поверх текста второй телеграммы было торопливо начертано лиловой губной помадой и, похоже, Капичным почерком, наискосок, как кладут резолюции:

«Хайль Гитлер!»

И подпись: «Курт».

Потрясенный, он поднял голову и обомлел. На стене, на том месте, где еще недавно висел портрет Сталина с девочкой на руках, теперь висел портрет Гитлера, тоже с девочкой и, может быть, даже с девочкой той же самой.

— Что за дурацкие шутки? — сказал Фигурин. — Дурацкие шутки. Дурацкие шутки. Дурацкие шутки! — закричал он, вскочив на ноги и трясая кулаками.

Тут он пришел в нервное возбуждение, сорвал со стены Гитлера и стал топтать его, все время повторяя, как попугай: «Дурацкие шутки! Дурацкие шутки!» Выбежал в приемную и закричал:

— Есть здесь кто-нибудь?

Ему никто не ответил.

— Есть здесь кто-нибудь? — прокричал он и в коридоре, но, не дождавшись ответа, выхватил пистолет и стал палить в потолок.

Открылась дверь комнаты отдыха, из нее вышел удивленный Свинцов.

Фигурин прекратил пальбу и спросил Свинцова, где остальные.

— Все удрамши, — сказал Свинцов, глядя на пистолет, из которого медленно вытекала тонкая струйка дыма.

— Что значит удрамши?

— Ну убегли, значит, — пояснил Свинцов.

— Куда? — Фигурин и сам понял, что вопрос звучит глупо.

Свинцов пожал плечами.

— Ну ладно, — сказал Фигурин, несколько успокоившись. — Иди опять в комнату и жди. Ты мне еще понадобится.

Он вернулся в кабинет и снял трубку телефона.

— Товарищ Фигурин? — отозвалась телефонистка. — Скажите, что происходит?

— А что происходит? — сказал Фигурин. — Ничего, по-моему, не происходит. Дайте мне Борисова.

Борисова не оказалось ни дома, ни на работе. Фигурин позвонил в Дом колхозника полковнику Добренскому. Не было на месте и его.

— Соедините меня с областью, — приказал Фигурин.

Отозвалась областная телефонистка.

— Лужина мне! — резко приказал Фигурин.

— Какого Лужина? — спросила она.

— Того самого.

— Ах, того самого, — засмеялась телефонистка. — Соединяю.

«Почему она смеется? — подумал Фигурин. — Наверно, там еще ничего не знают».

К телефону долго никто не подходил, и Фигурин нетерпеливо постукивал по рычагу. Он уже начал терять терпение, когда какой-то голос сказал что-то странное.

— Что? Что? — переспросил Фигурин.

— Stellvertreter des Militär-Kommandeurs, Oberleutnant Meier am apparat! — повторил голос.

Фигурин положил трубку и задумался. Потом опять схватил трубку и нервно бил по рычагу, но больше никто не отзывался.

Через некоторое время он вошел в комнату отдыха и застал там Свинцова, который преспокойно спал на голом деревянном топчане, положив под голову кулак.

«Железные нервы», — с завистью подумал Фигурин.

Растолкав Свинцова, он приказал ему собираться.

— Куда? — спросил Свинцов.

— Пойдешь в тюрьму.

— В тюрьму? Я? — переспросил Свинцов.

— Дослушай до конца, — усмехнулся Фигурин. — Пойдешь в тюрьму, возьмешь, если он там еще... этого... ну как его... Голицына или Чонкина, или хрен его знает, кто он, и вместе с ним отправляйся из города.

— Куда?

— Куда-нибудь на восток. Пешком или на чем-нибудь, дело твое. И там где-нибудь по дороге ты его... ну в общем, сам понимаешь... при попытке к бегству... понял?

— Так тут чего ж не понять, — отозвался Свинцов. — Дело простое.

— Ну ладно, — сказал Фигурин. — Дойдешь до наших, скажи: «Майор Фигурин, верный своему долгу... так и скажи: верный своему долгу, остался уничтожать секретные документы, чтобы они не попали в руки врагу». Потом постараюсь выбраться. Если сам попадусь, живым не дам. Понял?

— Понял, — кивнул Свинцов.

— Ну что ж, Свинцов, давай простимся. — Фигурин шагнул к Свинцову, обнял его и трижды облобызал. Свинцов в это время стоял, вытянув руки по швам, воротил морду и морщился.

✱

Чонкин проснулся от канонады.

В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним, потом понял, что он в камере, что он жив, огорчился и заплакал.

В отдохнувшем его теле пробудились желания: хотелось еще поспать, помочиться, поесть, почесать под лопаткой и, что самое неприятное было в его положении, хотелось жить.

<sup>1</sup> Помощник коменданта оберлейтенант Майер у аппарата.

Где-то за стенами снова ударил гром, его тряхнуло, он повернул голову — за обрезом верхних нар свет лампочки качался сквозь слезы.

Громыхнуло еще и еще, за дверью кто-то пробежал, стуча сапогами, и громко ругнулся матом.

Потом стало бить подряд, словно кто-то тяжелым молотом крушил стену снаружи. Чонкин понял, что это стреляют из пушек и стреляют где-то неподалеку. Он не думал о том, кто стреляет, в кого и зачем, но ему почему-то казалось, что эта канонада обещает ему спасение.

Вдруг он забеспокоился, что снаряд попадет сюда и его здесь завалит живого, но удары неожиданно прекратились, и в камере стало тихо.

Вытерев слезы, он спустился с нар, подошел к дверям и прислушался. За дверью было тихо: ни голов, ни шагов, ни бряканья ключей.

Помочившись в парашу, он хотел снова залечь на нары, но передумал и стал слоняться по камере. Впервые он мог подробно ее рассмотреть, раньше ему было не до этого. Теперь он увидел, что все стены камеры испещрены какими-то надписями, клятвами, угрозами, изречениями, стихами, признаниями в любви и сожалениями о бесцельно прожитых годах. Справа от двери чем-то острым, должно быть, гвоздем было выцарапано лаконичное сообщение: «Здесь сидел инспектор Маслов».

Потом еще всякая ерунда: какие-то цифры в столбик, рисунок с очень простым и доступным смыслом, матерные слова без всякого смысла, рецепт приготовления какого-то блюда с перечислением всех компонентов от баранины до соли и пряностей, фраза «Жил грешно, умер смешно», за ней еще что-то матерное, а за матерным с переходом на другую стену уверенным почерком того же инспектора Маслова: «А все-таки она вертится!» (что вертится, для чего и в какую сторону, сказано не было).

Переходя от стены к стене, Чонкин читал все, что на этих стенах было написано, и сам захотел здесь оставить какое-нибудь название потомству или что-нибудь в этом духе. Он отколупнул от нар щепку и подошел к стене. Но стена была уже исписана слишком густо, он мог вставить какие-то слова разве что между строк. Замечательная идея пришла ему в голову. Он подтащил к стене парашу, стал на ее края, теперь он мог писать выше всех. Раз уж смог он подняться выше всех, ему следовало написать что-нибудь необыкновенное, что-нибудь такое... Но ничего такого в голову не приходило, и он, рискуя свалиться вместе с парашей и изрядно потрудившись, написал одно слово «Чонкин». Только свою фамилию, ничего больше, но зато выше всех. Удовлетворенный, он спрыгнул с параша, отошел к нарам, глянул и обомлел. Его фамилия была высоко, выше самых верхних, может быть, на вершок. Но еще выше на самом потолке, таким полукругом написано было другое имя. Некий то ли Кузяков, то ли Пузяков, не желая пропасть бесследно, неразборчиво намазал свою фамилию дерьмом, впоследствии окаменевшим. Удивительно было, конечно, не то, что дерьмом (тюремный народ писал кто чем сумеет), удивительно было, что на потолке, как он туда забрался, ведь не муха же, а человек. Чонкин и так ломал голову и эдак примеривался, никак к этому Ку- или Пузякову даже мысленно подобраться не мог. Вроде и с нар не дотянешься, и сбоку, хоть даже две параша друг на друга поставь, никак не достанешь. Видать, очень ему хотелось, этому Ку- или Пузякову оставить в памяти хотя бы ближайших поколений зевов недолгую весть о том, что жил на свете человек с такой, в общем, невзрачной фамилией.

Заскрежетал в замке ключ, Чонкин очнулся от своих праздных мыслей. Дверь открылась, в проеме

появился Свинцов, сильно вооруженный. На боку в парусиновой кобуре висел у него наган, в руках он держал винтовку.

— Выходи! — сказал Свинцов Чонкину и мотнул головой.

«На расстрел!» — обреченно подумал Чонкин, но на всякий случай спросил:

— А шинельку взять можно?

Он так думал, что если на расстрел, то шинель навряд ли дадут, зачем же хорошую вещь зря дырывать?

— Возьми, — сказал Свинцов.

Кроме шинели он взял и пустой вещмешок, если не на расстрел, тоже авось пригодится.

Во дворе тюрьмы стояла телега, запряженная гнедой низкорослой лошадкой. В телеге было набросано сено. Свинцов взьерошил сено, кинул в него винтовку и кивнул Чонкину:

— Залази!

Чонкин послушно залез, примостился сзади, поджав ноги по-азиатски.

Свинцов сел на облучок, поерзал, устраиваясь удобнее, разобрал вожжи и концом их слегка хлестнул лошадь. Лошадь вздрогнула и лениво пошла. Телега заскрипела, застучала колесами по булыжнику и выкатилась на улицу через никем не охраняемые ворота.

Вскоре выехали из города.

За третьей деревней пошла желтая унылая степь, отороченная вдалеке стеною поблекшего леса.

— Эй, парень! — обернулся Свинцов. — Ты там еще не озяб?

— Не, — сказал Чонкин, — ничего.

Он сидел, нахохлившись, спрятав руки в рукава.

— А ты побегай, погрейся, — предложил Свинцов. — Неохота.

— А чего ж неохота? Вишь ты как озяб, нос даже совсем посинел. Пробежись, говорю. А то, покуда до места доедем, околеешь совсем.

Чонкин хотел спросить, до какого места они должны доехать, но промолчал, а Свинцов, пытаясь увлечь его личным примером, соскочил на землю и побежал рядом с телегой, похлопывая себя по бокам.

— Ох, как хорошо-то! Как здорово! — восклицал он. — Прямо вот чувствуешь, как кровь по жилам бежит. Ух, хорошо!

Но Чонкин и на это ничего не ответил, даже и не посмотрел на Свинцова, и тот, сознавая напрасность своих усилий, опять вскочил на ходу в телегу и сердито сопел, отдуваясь.

Они уже приближались к лесу, когда до слуха Чонкина донесся знакомый звук. Он сначала не обратил на этот звук никакого внимания, но потом встрепенулся и стал, глядя наверх, крутить головой. Далеко на горизонте он увидел маленькую точку. От этой точки и шел звук. «Самолет!» — мысленно ахнул Чонкин. Но тут же сам себя осадил, вспомнив, как однажды принял за самолет комара. Теперь он не верил ни своим глазам, ни предчувствиям. Он зажмурился, но звук продолжался... Больше того, с каждой секундой он нарастал и становился все более мощным.

Чонкин открыл глаза и увидел настоящий самолет. Теперь уже в этом не было никаких сомнений.

— Самолет! — крикнул Чонкин и ткнул Свинцова кулаком в спину.

— Ну и что, что самолет, — сказал Свинцов. — Впервой, что ли, видишь?

— Дурила! — закричал Чонкин. — И как же ты не можешь понять глупой своей головой! Дак ведь это ж за мной!

— Ну да! — усмехнулся, не веря, Свинцов.

— Вот тебе и «ну да». Эгей! — Чонкин вскочил на ноги, сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать,



приглашая летчиков снизиться.— Эй ты! — кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не заботясь о равновесии.— Давай сюда! Вот он я, здесь!

Словно отвечая на призыв Чонкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, пошел на снижение.

— Давай! — кричал Чонкин, размахивая пилоткой.— Садися! На дорогу садися!

В его сознании все произошло как бы отдельно. Сначала он увидел, как вспорол на повороте дорогу. Фонтанчики пыли брызнули вверх и выстроились в ряд, соскользнувший к обочине. Потом уже услышал пулеметную очередь. Над самой головой Чонкина с ужасным воем самолет круто взмыл вверх, и Иван увидел на крыльях отчетливые кресты. Он не успел удивиться, потому что в это время лошадь рванула и понесла. Чонкин, потеряв равновесие, свалился с телеги.

Некоторое время он лежал, и ему казалось, что он убит. Самолет еще раз прошел над ним. Чонкин съехался. Самому себе он казался огромным, слишком огромным пятном на пыльной дороге. Он понимал, что надо укрыться, хотя бы за придорожные кусты, где он был бы не так заметен, но у него не хватало для этого сил. Наконец, он поднялся и тут в третий раз увидел над собой самолет. Летчик, видимо, не ожидал, что Чонкин поднимется. Он дал очередь, но было поздно, пули вспоролы землю далеко впереди.

— Во! — вскочив на ноги, крикнул Чонкин и покрутил у виска пальцем.— Дурак ненормальный!

Наверное, летчик обиделся. Но пока он выполнял боевой разворот, Чонкин со всех ног кинулся к лесу. И вбежав в лес, прильнул грудью к большой сосне. Снова приблизились рев мотора. Мелькнули в просвете крылья с крестами, но на этот раз летчик Чонкина не увидел, и последняя очередь по кустам была уже совсем невпопад.

Выждав сколько-то времени и видя, что самолет не возвращается, Чонкин оторвался от сосны и двинулся дальше. Он шел напрямую, не зная куда и зачем, но зная почему и откуда, шел, впервые сознательно нарушив обязанности солдата и заключенного, впервые уклоняясь от уготованной ему судьбы.

Пройдя через болото и колючий кустарник, оказался он на неширокой поляне, посреди которой лежало большое тухлявое дерево с обрубленными ветвями.

Чонкин огляделся. Вокруг было тихо и мирно. Непуганый дятел долбил верхушку полусохшей сосны, и в осенней тоске где-то заливалась кукушка.

Он сел на ствол тухлявого дерева, перемотал одну портянку, принялся за вторую. Вдруг зашевелились и затрещали кусты.

«Медведь!» — обмирая, подумал Чонкин и с ботинком в руках вскочил на ноги.

Кусты раздвинулись, и на поляне с разодранной щекой, с винтовкой и пустым вещмешком Чонкина появился Свинцов. Глядя на Чонкина исподлобья, он приближался. Отступая вдоль дерева, Чонкин сбросил для удобства портянку и переложил ботинок из своей левой руки в правую. Ботинок, конечно, не граната и против винтовки оружие слабое, но если бы залепить им удачно в лоб...

— На, держи! — сказал Свинцов и кинул винтовку, как на ученье.

Чонкин успел выронить ботинок и схватить винтовку, но ушиб большой палец.

— И это держи! — И у ног его плавно опустился пустой вещмешок.

Свинцов сел на дерево и, трогая корявым пальцем царапину на щеке, кратко объяснил свое поведение:

— Надумал и я от них убежать.— И криво усмехнулся.— Надоели.

Было как-то странно, чудно, непонятно. Обдумыва-

вая происшедшее, Чонкин подобрал портянку, сел поодаль от Свинцова. С одного конца портянка была совсем мокрая, с другого еще ничего. Отжав мокрый конец, он сухой приложил к ступне и стал пеленать ее, как ребенка.

— Демаскируешь,— покрутил носом Свинцов.

— Чего? — не понял Чонкин.

— Мотай, говорю, скорее, а то нас с тобой тут унохают.

— А-а,— сказал Чонкин и, приняв слова Свинцова всерьез, заторопился.

Покончив с портянкой, натянул ботинок, поглядел на него критически — надолго не хватит.

Свинцов достал папиросы, одну протянул Чонкину, и тот взял ее осторожно, все еще опасаясь подвоха. Закурили.

— Ну что,— сказал Свинцов, помолчав,— далее вместе пойдем или же каждый поврозь?

— Куда идтить-то? — грустно вздохнул Чонкин.

— Куда? — переспросил Свинцов.— Да по лесам будем шататься. Поглубже зайдем, салаш построим и станем жить на воле, как хичники. А чего? — Свинцов вскинул голову.— Оружие есть, патроны есть, дичи всяческой настреляем, грибов, ягод насущим, компот варить будем. Компот любишь?

— Компот? — Чонкин посмотрел на Свинцова как на придурка.— Да для компота же сахар нужен.

— От сахара зубы болят,— возразил Свинцов, усмехаясь.— А вот, конечно бы, соли да табачку, да спичек запастись надо. Ну ничего. До Красного дочапаем, там поглядим. Ежели все спокойно, забежишь к Нюрке, на первое время чего надо возьмешь. Ну, побалуешься с ней напоследок. Оставаться не советую. Пымают. Согласный?

Насчет всего прочего Чонкин еще не обдумал, а встретиться с Нюрой хоть ненадолго желалось ему даже очень.

Вечерело, когда приблизились к Красному.

Оставив винтовку Свинцову, Чонкин вышел из лесу с пустым вещмешком. Пройдя через пути берегом Тепы, поднялся он к стоявшим на отшибе амбарам и за ними долго тайлся, однако из-за амбаров ни черта не было видно.

Перебежал к Нюриной избе, ткнулся в дверь — заперта. Хотел было сунуться за ключом под половицу, да услышав отдаленные голоса, взгляделся и увидел, что в сумерках возле конторы снова народ сгустился, а на дороге, покрытая пылью, стоит легковая машина.

«Неужли обратно митинг?» — подумал Чонкин и, раздраемый опасным для него любопытством, двинулся сперва к забору, потом к избе Гладышева и короткой перебежкой к машине, а уж от нее к конторе.

Народ стоял, тесно сомкнувшись. Чонкин привстал на цыпочки, выдвинул вперед подбородок и раскрыл рот.

На крыльце конторы худой длинный немец в черном мундире и в очках размахивал руками, выкрикивая:

— Крестьяне! Победоносная германская армия пришла к вам на помощь и навсегда освободила вас от власти большевиков. Евреи и комиссары никогда больше не будут вас грабить. Германское верховное командование надеется, что вы с благодарностью встретите своих освободителей и добровольно сдадите излишки продуктов нашим уполномоченным.

Широко расставив ноги, впереди всех в своей широкополой соломенной шляпе стоял Кузьма Гладышев.

— Правильно! — говорил он, в нужных местах удаляя в ладоши.

Чонкин попятился назад к машине и, никем не замеченный, покинул деревню.